

Дмитрий Веденяпин

Папа говорит по телефону

Дмитрий Веденяпин родился в 1959 году в Москве. Окончил Институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал ночным сторожем, рабочим в геологических и археологических экспедициях, преподавателем английского языка, читал лекции о русской литературе. Переводил прозу Исаака Башевиса Зингера, Брюса Чатвина, Майкла Каннингема, стихи Александра Поупа, Андре Шенье, Томаса Харди и других английских, американских, французских, немецких поэтов. Был близок к группе «Московское время». Первые поэтические публикации состоялись в начале 1980-х годов в самиздате. С 1987 года публиковался в журналах «Новый мир», «Континент», «Знамя», «Октябрь», «Иностранная литература», «Постскриптум», «Новая Юность» и других. Автор семи поэтических книг. Лауреат Большой премии «Московский счёт» (2010), стипендиат Мемориального фонда Иосифа Бродского (2011), лауреат премии «Поэзия» (2019) и других. Живёт в Париже и Москве.

Дмитрий Веденяпин

Папа говорит по телефону

Москва

«Воймега»

2020

УДК 821.161.1-1 Веденяпин
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
В26

Д. Веденяпин

В26 Папа говорит по телефону / Дмитрий Веденяпин. —
М.: Воймега, 2020. — 300 с.

ISBN 978-5-6043511-2-3

ISBN 978-5-6043511-2-3

© Д. Веденяпин, текст; 2020
© «Воймега»; 2020

От автора

Этот сборник состоит из семи книг. Вернее, так: из трёх книг и четырёх фрагментов. «Трава и дым» (2002), «Стакан хохочет, сигарета рыдает» (2015) и «Птичка» (2018) публикуются без изменений. «Покров» (1993) — в сильно сокращённом виде, поскольку часть собранных там стихов публиковать «неохота и стыдно», а другая входит в «Траву и дым». Из книги «Что значит луч» (2010) в данном издании исключены второй и третий разделы, чей состав также дублируется в других книгах. Сборник избранного «Домашние спектакли» (2015) представлен одним-единственным стихотворением.

Прологом или, если угодно, предисловием к стихам служит прозаический отрывок из книги «Между шкафом и небом» (2009).

Как читателю чужих стихов, мне часто не хватает некоего *большого знания* об авторе, чем то, что можно почерпнуть из скурых сведений (где родился, где учился, перечень изданных книг и премий), которые обычно приводятся. Кажется, представляй я лучше, *какого рода* человек всё это говорит, я бы смог лучше расслышать *звукосмысл* сказанного. Надеюсь, что проза «Между шкафом и небом» делает неизбежные поэтические темноты чуть менее тёмными.

Между шкафом
и небом

* * *

Сестре

Бог обращается к нам... Нет, мы приближаемся к Богу (услышав такое, баба Нюра бы, наверное, кивнула, баба Аня – пожалала плечами, мама – посмотрела «из глубины», папа – его реакцию не могу угадать), когда у нас нет выбора. Когда – вот такие родители, такой дом, такие ветки и крыши в окне. Детство – единственная дарованная (и даровая) возможность свободы от самих себя. В родительских запретах, разрешениях и даже обманах («Как вкусно!» – это про рыбий жир) всегда присутствует что-то помимо взрослых знаний о мире. Родительский дом – всегда немного храм, где ходит и качается свет, расширяется и каменеет тьма (а вдруг я ослеп?). Мамы-папы-бабушки-дедушки – всегда священники, *всего лишь* священники.

Вот фотография: баба Нюра, баба Аня, мама и папа сидят на нашем диване с высокой спинкой в самой важной комнате моей жизни на Ульяновской улице. В младенчестве эта комната казалась мне огромной, хотя в ней было от силы метров двадцать. Мы жили там впятером.

Моих ровесников, не говоря о людях постарше, не удивить коммуналками. Почти все успели в них пожить. Но мало кто может похвастаться таким количеством соседей. В нашей квартире «плакали и пели» десять семей – подчёркиваю, не человек, а семей! Дальше всё как положено: табличка (или просто картонка с написанными от руки фамилиями – не помню) кому сколько раз звонить, длиннющий коридор, по которому мы, дети, – да-да – катались на велосипедах, чёрный телефонный аппарат на стене

(телефонные номера ещё начинались с буквы: К-7-99-76 (наш номер)), кухня с пятью плитами, одна ванная и одна уборная на всех. Из кухни (квартира была на первом этаже) через чёрный ход можно было попасть во двор с качелями, песочницей и видом на церковь Покрова Пресвятой Богородицы, своей нижней застеклённой частью напоминающую снаружи дачную веранду. Церковь была действующая — баба Нюра туда ходила.

Дом был большой, пятиэтажный, песочного цвета, довольно облезлый, с тяжелой дверью подъезда и широкой лестницей, по которой я ни разу не поднялся выше, чем на несколько ступенек, ведущих к нашей квартире, — куда подевалось моё детское любопытство?

Той, *нашей* Таганки, больше нет, поэтому стоит, наверное, хоть чуть-чуть рассказать, как что выглядело. На противоположной стороне улицы стояли двух-трёхэтажные дома с внутренними двориками, деревянными лестницами и деревянными пристройками. В одном из таких домов, вниз по улице, размещалась пивная, около которой отирались всякие сомнительные личности. Главных мужских типа было два: бандит с большой дороги, часто со свирепой физиономией в шрамах, ничего общего не имеющий с сегодняшним одутловатым бомжем-выпивохой, и несколько осовеченный вариант Мармеладова. Пьяницы-женщины были похожи на средневековых сумасшедших. Самой заметной была Зина в зелёном пальто зимой и летом. Выпив, она делалась буйной. Её все боялись — все, кроме бабы Нюры, которая не боялась никого и ничего.

Неподалёку находился Тетеринский сквер, куда меня мой *monsieur l'Abbé* (всё та же баба Нюра) «гулять водил». В сквере были лавочки, сцена-ракушка (не помню ни одного представления), баскетбольная площадка, дорожки и

что-то вроде небольшого вытопанного пустыря, на котором играли в футбол. Зимой заливали каток. Одну или даже две зимы я занимался там «фигурным катанием» (так это называлось), а на самом деле просто учился ездить на коньках — вперёд, назад и заворачивать, заноса ногу за ногу. В сквере часто можно было встретить благородного вида старичка-фотографа. Он фотографировал детей, а напечатанные карточки продавал, а может быть, просто дарил родителям.

Как-то раз на следующее утро после очередного дня рождения я, чрезвычайно гордый своим новым возрастом, в новом демисезонном пальто отправился гулять. Холодно, но фотограф сидит на лавочке. Он умел сидеть на лавочке в любую погоду. Обменявшись несколькими словами с бабой Нюрой (неужели это она его подучила?), он поворачивается ко мне и задаёт единственно важный и уместный вопрос: сколько мне лет? До сих пор — сегодня мне немного стыдно из-за этого — помню, как я торжествующе пискнул: «Шесть».

Тетеринский сквер был окружён высоким железным забором, который я тоже хорошо запомнил — может быть, потому что приходилось долго шагать вдоль него к входным воротам. Лет до семи я почему-то играл в основном с девочками. Возвращаться домой всегда было радостнее, чем гулять. Там меня ждала бабушка. А вечером придут мама с папой.

Я уже упоминал о табличке «кому-сколько-звонить». Но иногда раздавался особенный звонок, не указанный в нашей местной азбуке Морзе: один бесконечный. И все понимали, что сейчас будет. В коридор, заранее растопырив руки, выбегала простоволосая Марья Михайловна. Трезвон не прекращался. Марья Михайловна отпирала — пьяный Андриан, вертикально спящий на той стороне

двери, вместе с костылями (у него не было ноги) с грохотом валился на пол. Бормоча нехорошие слова, Марья Михайловна улоакивала мужа в комнату. Потом возвращалась за костылями.

Нет, я не с того начал. Начать надо было с клопов. Да, они тоже у нас жили. Не кишели, но водились. Папа, мастер короткого документального очерка в стихах, запечатлел это в двустишии, написанном от моего лица:

Сиж у папы на коленке
И вижу: клоп ползёт по стенке.

Иногда могла пробежать мышь. Нравы были жестокие — сразу же ставили мышеловку, причём не такую, как сейчас, которая в строгом соответствии со своим названием только *ловит* мышь в добрую пластмассовую коробочку, а страшный железный капкан, насаживающий несчастное животное на острый штырь. До сих пор помню жуткий щелчок захлопывающейся мышеловки. О прочих подробностях удачной охоты лучше умолчу.

Вернёмся к людям. В ближайшей от нас комнате слева жила Наталья Александровна, похожая — чего тогда ещё никто не знал — на постаревшую героиню Аллы Демидовой Лизавету Павловну из «Зеркала». Она работала в Библиотеке иностранной литературы. Жилось ей — как, впрочем, всем и в любые времена — непросто. На её содержании находился великовозрастный сын Володя, болеющий туберкулёзом. Володя был странный. Всегда в одних и тех же шароварах и клетчатой рубашке, он, когда не спал и не лежал в больнице, целый день играл на аккордеоне. Сама Наталья Александровна была скромная, приветливая и какая-то редкостно *нефальшивая*. И мама, и папа, и — теснее всех — бабушка с ней дружили.

Другим соседом был главный хулиган района Лёшка Милешевич. По слухам, его уважала вся окрестная шпана.

Никаких бесчинств в нашей квартире Лёшка не творил, если не считать сомнительного ритуала, совершаемого им всякий раз, когда он приводил к себе «девку», как тогда говорили. Ритуал заключался в том, что Лёшка через весь коридор нёс кое-как завёрнутую в простыню «девку» в нашу единственную ванную. «Девка» залиvisto визжала. Моя брезгливая бабушка обязала Лёшку дезинфицировать не только ванну, но и телефонную трубку после каждого разговора — для этой цели рядом с телефоном стояла банка с каким-то дезинфицирующим средством. Самое поразительное, что Лёшка это требование беспрекословно выполнял.

В дальней комнате слева жило семейство Комлевых: папа Виталий, мама Клава и сын Юрка, года на два — на три старше меня. С Юркой мы играли. Обычно у нас Виталий был добродушный, уравновешенный человек, отсидевший за воровство. На кухне он любил спорить с соседом Николаем, тоже сидевшим, но по 58-й статье, за плен. Хмурый Николай утверждал, что они в лагере загибались с голоду, а Виталий, «отбывавший наказание» примерно в тех же местах, уверял, что жить было очень даже можно, а по воскресеньям им давали апельсины. Уверен, что Солженицыну с Шаламовым было бы что сказать по этому поводу, но я просто слушал.

Ещё в нашей квартире жила Анна Михайловна, прозванная моей мамой «горшок и веник» за то, что она почему-то появлялась в нашем общем коридоре не иначе как с ночным горшком в одной руке и веником метёлкой вверх в другой — так неискушённые в этикетных тонкостях люди несут букет цветов. При этом осанкой и царственной поступью Анна Михайловна напоминала пожилую Ахматову — «ретроспективное» сравнение с моей стороны, как вы догадываетесь. Она была бабушкой моей ровесницы Марины.

В самой маленькой комнатке, фактически чулане, обитала сморщенная старушка, прислуга бывших, то есть *настоящих* (дореволюционных) хозяев квартиры. Не знаю, как ей жилось до 17-го года, но то, что началось после, её явно не устраивало. Своих чувств она не скрывала, время от времени возникая в дверях с воздетым к потолку сухоньким кулачком и запоминающейся, замечательно интонируемой репликой: «У-у, коммунисты!» Но и она была хорошей соседкой.

Вообще, насельники нашей квартиры старались по возможности не портить друг другу настроение. Я, конечно, слышал, а впоследствии читал о всяких склоках, скандалах, керосине в супе, толчёном стекле в варенье и прочих ужасах советского коммунального быта. Что ж, значит, нам просто повезло.

А как чувствовали себя на Таганке мои родственники? Было ли им так же хорошо, как мне? Во всяком случае, на моей памяти, счастливее, чем тогда, они уже не были. Помните анекдот: у немецкого старика-еврея спрашивают, когда ему лучше всего жилось на свете, и он не задумываясь отвечает: «При Гитлере». — «Как же так? А Нюрнбергские законы? А газовые камеры?» — «Видите ли, я был молод».

Но, по-моему, дело не только в молодости мамы и папы и относительно здоровье бабушки и бабы Нюры. Дело именно в этой комнате, в этой квартире и какой-то общей — разлитой в воздухе города? страны? мира? — нерастраченности веры, надежды и любви.

Сохранилась фотография: молодые баба Нюра, бабушка, бабушкин муж Самуил (мой дед, погибший в сталинском лагере за двадцать лет до моего рождения — сегодня я понимаю, что для бабушки это значило *совсем недавно*) и маленькая мама.

Про Самуила я знаю только, что он родился, как Мандельштам, в «девяносто одном ненадёжном году» (кстати говоря, арестовали их тоже одновременно: в 38-м) и, соответственно, был на десять лет старше бабушки, что у него венгерские корни, что он был весёлый, любил танцевать (и вроде бы неплохо это делал), строил, а затем — до самого ареста (разумеется, по 58-й статье) — служил директором Центрального парка культуры и отдыха («с гребешками воздуха, культуры и воды»). Еще знаю историю с котом.

У бабушки на работе завёлся воздыхатель. В обеденный перерыв он приносил ей чай, а после работы провожал до дома. То, что бабушка замужем, его не смущало. Самуил посоветовал жене сказать, что её муж страшно ревнив, склонен к насилию и вообще псих ненормальный. Не помогло. Правда, зная бабушку, я что-то не очень представляю себе, как она всё это произносит. Тогда мой дед, крупный, наголо бритый человек с волевым подбородком, начал действовать. Он взял кота, привязал к нему разноцветные бантики, надел поводок и, подгадав время, когда бабушка с ухажёром подходили к подъезду, вышел им навстречу. Это сработало.

В 1957 бабушке выдали «Справку» (так и написано: «Справка»), в которой сообщалось, что «постановление особого совещания при НКВД СССР от 8 июня 1938 года в отношении Цвика Самуила Копелевича отменено и дело о нём (так и сказано: «Дело о нём») прекращено за отсутствием состава преступления. Цвик С. К. реабилитирован посмертно».

Гибель Самуила была бабушкиным неизжитым кошмаром. В 1973-м, за несколько месяцев до смерти, бабушка на праздновании годовщины свадьбы своей сестры пожелала ей уйти из жизни раньше мужа. Это «непраздничное» пожелание о многом говорит.

Баба Нюра (Анна Егоровна Осипова), прежде чем стать моей няней, была няней моей мамы. Она родилась в деревне Акулово. Во время коллективизации бежала от голодной смерти в Москву. Ни мужа, ни детей у неё никогда не было. Где и как они познакомились с бабушкой, как вышло, что она стала няней и фактически членом нашей семьи, я не знаю. Баба Нюра закончила церковно-приходскую школу. Недавно кто-то уверял меня, что русская церковно-приходская школа давала прекрасное академическое образование, сравнимое с нынешним университетским, причём не в пользу последнего. Возможно. В таком случае баба Нюра была самой плохой ученицей за всю историю существования церковно-приходских школ. Она толком не умела ни читать, ни писать. Записки «О здравии» и «О упокоении» всегда заполняла за неё либо бабушка, либо мама. Ни один священник не мог разобрать её каракули.

Она была некрасивая (хотя с годами становилась всё симпатичнее), нескладная и кривоногая. Всегда всё роняла, переворачивала, вечно обо что-то стучалась. Всё путала. Когда бабушка пыталась ей что-то объяснить, например как пользоваться какой-нибудь технической новинкой, баба Нюра махала рукой и честно признавалась: «Да я всё равно не пойму», а когда её пытались научить более или менее общепринятым образом произносить какое-нибудь слово: «Да я всё равно не выговорю». Она даже не могла «выговорить» имя-отчество бабушки — Анна Яковлевна превращалась у неё во что-то вроде «Анукунай». При этом баба Нюра любила всякие «приговорки», например: «Отвяжись, худая жисть, привяжись — хорошая» и пр.

Однажды вместо рыбьего жира она влила в меня столовую ложку бабушкиных сердечных капель. Вызванный врач неотложки сказал потом, что, если бы меня уложили

спать – чего баба Нюра сделать не успела, – я бы, скорее всего, не проснулся. Ошибку случайно обнаружила баба Аня, по удачному стечению обстоятельств вернувшаяся домой раньше, чем рассчитывала. «Нюрочка, а почему мои капли тут стоят?» – «Каки капли? Это рыбижир! Я Диме дала». – «О Господи...»

Что баба Нюра умела и, по-моему, даже любила делать – так это стоять в очередях. Там она ругалась, обсуждала последние новости, давала советы.

Благодаря бабе Нюре я поверил в свои силы. Обычно ребёнок уступает взрослому в ловкости и сообразительности и побеждает в игре, только если взрослый поддаётся, что почти всегда заметно. У бабы Нюры я, начиная лет с пяти, выигрывал во все игры: в футбол, в «дурака», в «пьяницу», в шашки... Впрочем, как знать, может, она тоже поддавалась – просто я не замечал. Выходя на улицу, а часто и дома, баба Нюра надевала платочек. В Великий пост она не ела своих любимых лимонных конфеток, мяса и прочего, чего нельзя, и не смотрела телевизор (наш чёрно-белый «КВН» с экраном десять на десять сантиметров и линзой, в которую заливалась вода). На Пасху обычно передала, и у неё болел живот. Всех нас баба Нюра очень любила и, мне кажется, если бы потребовалось, отдала бы за нас жизнь. Я знаю (только не спрашивайте откуда), что её молитвы хранили нас. Если *там* выдают тела, сообразные душам, баба Нюра должна быть красавицей.

Баба Аня (Анна Яковлевна Ронис) – свет моей жизни. Её предки были глубоко религиозны. Один из них стяжал особую милость Божью. Умирая, он сказал, что, если кому-нибудь из его потомков до седьмого колена (кажется, к этому последнему поколению принадлежал бабушкин дед) будет худо, можно прийти на его могилу и попросить

о заступничестве. Согласно семейной легенде, у какой-то женщины из нашего рода тяжело заболел муж. Ничего не помогало. И хотя жили они в нескольких днях пути от места захоронения святого предка, женщина решила ехать. Соседи пытались её отговорить: «Куда ты? Это же безумие! Ты не застанешь мужа в живых!» Но она всё-таки поехала. Нет нужды говорить, что мужу стало лучше именно в тот миг, когда она добралась до могилы праведника. К её возвращению муж совсем поправился и вышел ей «во сретение».

Ещё одна семейная история связана с моим прапрадедом, бабушкиным дедом-раввином. Однажды на улице он увидел удаляющуюся женщину. В посадке её головы и общем очерке фигуры было что-то такое, что он, не помня себя, как зачарованный двинулся за ней. Женщина свернула в переулок, дед — за ней. Спустя какое-то время он с удивлением обнаружил, что женщина идёт по его улице к его дому. Вот она подошла к калитке, оглянулась — и ребе узнал свою жену.

Бабушкины детство и юность прошли в Балте, небольшом городке недалеко от Одессы. Она училась в русской гимназии. Судя по всему, нравы в гимназии были либеральные: по субботам детям из религиозных еврейских семей разрешалось — не помню точно — то ли не писать, то ли не ходить в школу вовсе.

Всю жизнь до пенсии бабушка проработала библиотекарем. Отношение к книге было соответствующим. Загибать страницы, класть открытую книгу на стол обложкой вверх считалось недопустимым. Под бабушкиным благотворным влиянием все мамыны подруги пристрастились к чтению.

Мама родилась в 34-м году, а в 38-м арестовали и отправили в лагерь моего деда Самуила. Бабушка стояла

в тюремных очередях, отправляла посылки, которые, судя по нескольким дошедшим из лагеря письмам, Самуил не получал. Была реальная опасность, что бабушку тоже арестуют. Кажется, какое-то время баба Нюра даже прятала их с мамой у своих деревенских родственников. Со мной бабушка никогда ни о чём таком не говорила. Хотя своего отношения к советской власти не скрывала. И не то чтобы она считала всех приближённых к власти палачами — нет, она им просто не верила. Если по радио рапортовали о рекордном урожае гречихи, бабушка предлагала запастись парой лишних килограммов гречки: будут перебои — и, как правило, не ошибалась.

Мне было четырнадцать лет, когда она умерла, то есть я был не таким уж маленьким. Почему же я не помню никаких слов? Ведь бабушка наверняка мне что-то рассказывала и про книги, и про свою жизнь. А я помню только её седые волосы, глаза с длинными верхними веками-крышечками, руки. Помню её нежность.

Как-то раз знакомый родителей (из шутников) начал расспрашивать меня о том, какие девочки мне нравятся и не собираюсь ли я на ком-нибудь из них жениться. Мне было пять лет. Я в ужасе отвечал, что никакие не нравятся (неправда). От одной мысли о совместной жизни с какой-то чужой девочкой меня бросало в дрожь (правда). А вот жениться я собирался — на бабушке.

Нет, всё-таки несколько бабушкиных слов я запомнил. Как она говорит маме: «Я готова заболеть всеми болезнями на свете, лишь бы Дима скорее выздоровел», когда у меня долго не спускалась температура и, кажется, я бредил. Врач неуверенным голосом сообщил диагноз: мононуклеоз. Сначала все всполошились, но, когда выяснилось, что этот врач пишет диссертацию о мононуклеозе, успокоились.

И ещё: мы сидели на дачной террасе в Александровке, и бабушка, видимо отзываясь на что-то прочитанное, вдруг сказала: «А знаешь, я бы не хотела жить вечно». Помню, что мне стало страшно. Когда через много лет я прочитал у И. Ф. Анненского:

...О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам, —

я немножко понял, что бабушка имела в виду. Но это отдельная история.

Как бы то ни было, дни, проведённые с бабушкой на даче, — из самого чудесного, что происходило в моей жизни. Серо, идёт дождь, или, наоборот, светит солнце и пчела ползает по принесённым бабой Нюрой лесным цветам. Бабушка читает или готовит. У неё очень красивое лицо.

Есть фотография, сделанная на каком-то съезде библиотечных работников. Общая: человек триста, наверное. Бабушкино лицо сияет там, оно какое-то совершенно особенное. Я не объективен? Разумеется.

В Пушкинском музее висит картина Андре Дерена «Субботний день». В детстве я её боялся, а теперь, глядя на неё, вижу нашу комнату на Таганке и бабушку. Не потому что бабушка так уж похожа на скорбных и суровых деревенских дев — разве что некоторой удлинённостью черт, — а потому что так называемый «быт» в её присутствии тоже просветлялся. Бабушка могла так войти в комнату, так улыбнуться, так поставить тарелку на стол, что я чувствовал мерцание чего-то невероятного, обещание чего-то такого, что значительнее всего на свете.

Наверное, с вами тоже так бывало? Просыпаешься и не понимаешь, как расположена комната, вернее, как ты в ней расположен. Почему до стены десять сантиметров,

хотя, когда ты засыпал, было десять метров? Утренняя головоломка в стиле Кэрролла. Смятенно оглядываешься...

Кстати, выяснилось, что я почти всё помню: наши два окна, карнизы, шторы, стол, абажур, шкаф, дверь, пол. Особенно — пол. С ёлочными иголками между паркетин, вспыхивающими и снова гаснущими, когда солнце уходило. Рай Нового года... И пуговичный футбол. Папа меня научил. Поле — красиво расчерченная тёмно-коричневая доска (примерно метр на два); ворота из толстой проволоки с сеткой из марли (абсолютно гениальные); пуговицы-игроки — кажется, было три или даже четыре команды (по шесть-семь «полевых игроков» плюс пуговица-вратарь). Некоторые пуговицы я помню до сих пор: скажем, толстую полупрозрачную. Роль мяча исполняла маленькая пластмассовая площадка из какой-то настольной игры (какой?). Игроки приводились в движение специальной пуговицей-битой. Точно рассчитав силу, держа биту под углом примерно 45 градусов, нужно было нажать на пуговицу-игрока. Это была совершенно упоительная игра. Можно было пасовать, наносить удары, в том числе в «девятку» — неберущиеся. По-моему, папа сам придумал эту игру с друзьями, когда ещё учился в школе.

Ничего не сохранилось. Почему?

Надо сказать, что вообще всему «спортивному» (кроме борьбы самбо) меня научил отец: пинг-понгу, серсо, футболу (настоящему), бильярду, ездить на велосипеде. Он даже попытался дать мне уроки вождения автомобиля. Мне было лет десять, наверное. На грунтовой дороге у пшеничного поля, в Александровке. Секунд через пять я съехал в кювет, слегка повредив машину, и занятия решено было отложить. Как оказалось, на тридцать пять лет. Только справа от меня сидел уже не отец, а инструктор автошколы.

Отец был маленького роста (метр шестьдесят два), широкоплечий, с сильными руками. И очень симпатичным (когда не пил) лицом: высокий, красивой формы лоб, благородный нос с горбинкой, серые лучистые глаза. Привлекательное лицо. После тридцати пяти, растолстевший и полысевший, он был похож на Хичкока и немножко на Черчилля, в молодости со светлыми вьющимися волосами — на агента английских спецслужб Квиллера (Джорджа Сигала) из «Меморандума Квиллера», снятого по сценарию Гарольда Пинтера в 1966 году:

- Эти сигареты вы курите?
- Нет, я вижу их впервые.
- Попробуйте, они довольно мягкие.
- Хорошо, я попробую.

Пароль и отзыв... Кстати, отец курил. Причём исключительно западные сигареты: «Кент», «Мальборо», «Уинстон», «Филип Моррис» — я помню, мне очень нравился запах. Иногда — сигары. Мне снова нравилось.

Как это так, удивитесь вы, советский человек в шестидесятые-семидесятые годы курит «Уинстон»? Сейчас объясню.

Но сначала я хочу сказать несколько слов про папины волосы. Это важно. Отец (как и я) начал лысеть рано. Но, в отличие от меня, почему-то очень переживал по этому поводу и пытался бороться. То и дело чем-то мазал голову. Вспоминается дикое слово «Кармазин». Может такое быть? А потом кто-то посоветовал ему верное народное средство (розыгрыш?) — чесночный раствор, который следовало втирать в корни волос, после чего надевать на голову целлофановый пакет и так сидеть полчаса-час, точно не помню. Запах стоял убийственный. Волосы выпадали своим чередом.

Теперь про «Уинстон». Дело в том, что отец был деканом факультета для дипломированных специалистов

при МГПИИЯ (Институте иностранных языков) имени Мориса Тореза, устным переводчиком и преподавателем английского языка. Разумеется, он был членом партии. Позор? Что я могу сказать? Отец родился в 1934 году и в хрущёвскую «оттепель» совершенно искренне поверил в то, что вот сейчас все мы, «люди доброй воли», окончательно искоренив сталинизм, построим добрую, честную, умную страну с талантливыми студентами, красивыми космонавтами, академгородками, полями и лесами. Наивность? Самообман? Ничего не могу сказать. Знаю только, что он бесконечно за кого-то хлопотал, вечно кого-то куда-то устраивал, спасал. Вообще, был исключительно отзывчивым человеком. Помогал всем, кому мог. Без разбору. Иногда в доме появлялись люди совершенно дикого вида. Когда обнадёженный (и, как правило, не напрасно) гость уходил, мама в ужасе накидывалась на отца: «Юра, что ты делаешь, это же типичный стукач (вариант: полный идиот)!» А отец начинал ей что-то объяснять про трудные обстоятельства, в которые этот человек попал, и про то, что ему некому больше помочь. Никогда не делил людей на «своих» и «чужих», «своего круга» и «не своего круга». Не потому что не чувствовал разницы (хотя, может быть, она для него и не была такой существенной, как для мамы), а потому что считал, что это недемократично. Очень много работал. Поездки за границу (отец ездил переводчиком с разными делегациями: инженеров, врачей, агрономов и др. — каждый раз, само собой, нужно было учить всякие термины) были, конечно, привилегией в те годы. Отец объездил весь мир, когда разные страны были ещё действительно разными, не говоря уже о пропасти между жизнью «здесь» и «там». Но на этом вся его привилегированность и заканчивалась. Денег едва хватало на самое элементарное и на то, чтобы летом вывезти семью в какой-нибудь подмосковный дом отдыха или — самое далё-

кое — в Прибалтику. Кроме нас, на его попечении находились ещё две тётки и двоюродная сестра. Странно, но факт: чтобы свести концы с концами декану факультета главного во всём СССР языкового вуза приходилось давать частные уроки английского.

Однажды кто-то из отцовых знакомых, придя к нам в гости, начал рассуждать о том, какая именно сумма на сберкнижке позволяет ему чувствовать необходимую уверенность в себе: одиннадцать тысяч. Отец с мамой только переглянулись. Таких денег у них отродясь не было.

Некоторые из «выездных» привозили вещи на продажу. Разумеется, в нашей семье это считалось немыслимым. Привозилось только что-нибудь из одежды для мамы и для меня и подарки друзьям и знакомым. Себе отец, несмотря на мамины уговоры, почти ничего не покупал, кроме сигарет и грошовых мелочей, вроде изящного бритвенного станка (английского) или маленькой серебристой гильотины для сигар (кажется, американской).

С наступлением брежневских времён социальный оптимизм отца заметно поубавился. К середине семидесятых, когда серая тень от кэзгэбэшного маразма лежала практически на всём, он совсем загрустил. Его административный талант, не говоря уже об идеологически подозрительном добросердечии, оказались ненужными и, более того, неуместными. Институт всё определённое превращался в унылое гнездо циников и карьеристов. Отец растерялся. Сделаться антисоветчиком он был не готов, смириться с тем, что маразм и подлость — норма общественной жизни, тоже не мог. Его пьянство, постепенно переросшее в самый настоящий алкоголизм, было, наверное, связано не только с «политическими» переживаниями, но то, что он пил, чтобы — парадокс — вернуть почву, уходящую из-под ног, это точно. И, разумеется, чем сильнее он пил, тем больше она уходила — и в переносном, и в прямом

смысле слова. Я помню, какой это был ужас — смотреть из окна на возвращающегося с работы отца, едва держащегося на ногах. Отношения с мамой были разрушены. Я твёрдо принял сторону мамы. Дошло до того, что я потерял способность говорить ему «папа». Не мог.

До сих пор — со смешанным чувством грусти и стыда — помню нравоучительные лекции (мне было лет 15-16), которые я читал отцу. Он смиренно слушал, кивал... И вскоре напивался снова. С какого-то момента для этого хватало буквально пары рюмок. Пьянел отец некрасиво: глаза мутнели, язык заплетался... Контраст был разительный. Дело в том, что трезвый он был замечательный рассказчик: остроумный, находчивый. У него была точная и богатая речь (и лексически, и интонационно) какого-то нездешнего экстра-класса. Возможно, здесь сказывался и его заграничный (в частности, британский) опыт, но, вернее всего, это был просто дар. От Бога.

Педагогикой отец занимался не только как практик, но и как теоретик. Однажды в Монреале он познакомился с четой канадских учителей, Робинот и Мишель. Они вместе обсуждали, как лучше учить студентов языку, отец был у них на занятиях в университете, заходил к ним в гости, в общем, они подружились. В середине семидесятых они приехали в Москву, и отец пригласил их к нам. Сейчас трудно представить (мне самому требуется усилие), что такое в те годы был приход в гости иностранцев. Сердце замирало. У вечера (впрочем, как и у всякого вечера с застольем) была дополнительная интрига: напьётся или не напьётся отец. Обнадёживало то, что Робин и Мишель — вегетарианцы, не пьют, не курят и вообще всячески следят за своей физической формой.

Была зима. Я то и дело отводил шторы и выглядывал в окно. Валил снег. Наконец подъехало такси, из которого вылезли отец, канадцы и кто-то ещё — о Боже, отец ведь

предупреждал, что, поскольку визит официальный, он, по правилам, обязан пригласить хотя бы одного «наблюдателя» из института, а именно парторга.

Вот загудел лифт. Мама пошла открывать.

Мишель оказалась маленькой и грациозной, Робин — поджарым и улыбчивым. У обоих были умные и породистые *иностранные* лица. Общую картину светскости и западного изящества несколько портил мужиковатый парторг, но и он старался *соответствовать*.

Канадцы совсем не знали русского. Честно говоря, эти два-три часа общения с *native speakers* дали мне — в смысле выучивания английского — больше, чем все многочисленные школьные уроки, вместе взятые. Серьёзно.

Вечер закончился неожиданно. Отец был трезв, напился Робин. Помню, как он стоит, поддерживаемый смущённой Мишель, в нашей прихожей, и парторг со словами «*that's better*» поправляет на нём русскую шапку-ушанку — сувенир из Москвы.

Дружба с канадцами имела продолжение. На следующий Новый год Робин и Мишель выслали на наш адрес полное собрание сочинений Агаты Кристи — отец, как и Мишель, был её преданным поклонником.

Замечу, кстати или некстати, что Кристи и мне кажется замечательной писательницей — во всяком случае, у неё есть одно чудесное качество: в её книжках, несмотря на все козни и коварные убийства, присутствует какое-то райское чувство жизни как удачи.

Наивные Робин и Мишель! Разумеется, посылка была украдена на таможне. Вся целиком. До нас не дошло ни одной книги.

Канада — особая глава в жизни нашей семьи. Дело в том, что отец полгода работал там на выставке ЭКСПО-67. Несколько сувениров чудесным образом уце-

лели по сей день: стеклянная подставка для шариковой ручки с впаянными внутрь канадскими монетками, значки (в свои восемь-девять лет я почему-то убедил себя и своих приятелей в том, что один из значков стоит столько же, сколько машина — какая именно машина, не уточнялось, машина вообще, — и верил в это лет до четырнадцати), прозрачная полусфера с пластмассовой репликой канадского павильона (надо было её потрясти, и начинал кружиться снег), приспособление вроде маленького волшебного фонаря для просмотра слайдов, открытки и фотографии.

Отец рассказывал, как, проходя однажды мимо канадского павильона, увидел статного индейца в головном уборе с перьями и кожаных штанах с бахромой. Он подошёл к коренному жителю Северной Америки, чтобы расспросить его о жизни и верованиях его народа. Вскоре выяснилось, что индеец совсем не говорит по-английски, зато неплохо знает русский, а ещё лучше — украинский. «Индейцем роблю» — родители часто это потом повторяли.

Из Канады отец привёз гениальные (как казалось тогда всем: и детям, и взрослым) игрушки для розыгрышей: банка, на которой было написано, что она — горчица (mustard), а на самом деле внутри пряталась жёлтая пружинная змея; пузырёк со специальным раствором, изображавшим чернила, который нужно было «нечаянно» опрокинуть на платье (желательно светлое, а лучше всего белое) какой-нибудь гостьи и, округляя в притворном ужасе глаза, бормотать извинения — через пять минут страшные пятна бесследно исчезали; ну и — из песни слова не выкинешь — вещь, прямо скажем, за гранью хорошего вкуса, но всё равно почему-то казавшаяся очень смешной — резиновая подушка-пукалка, которую нужно было быстро и незаметно подложить во время

застолья поднявшемуся – например, чтобы произнести тост – гостю.

Помню, как мы встречали отца во Внукове, главном международном аэропорту в те годы. Хотя кончался октябрь, погода была тёплая, как в августе. Мы стояли на открытой смотровой площадке (такое ещё было возможно) и глядели, как взлетают и садятся самолёты. Наконец приземлился самолёт из Монреаля и подъехал почти к самой смотровой башенке. Подали трап, пассажиры стали спускаться, потом пошли по лётному полю в нашу сторону. Мама первая увидела отца и сказала мне: «Смотри, вон папа!» И тогда я тоже его увидел. Он шёл в толпе, вместе со всеми и в то же время как будто немножко отдельно. Ярко светило солнце, и я заметил, что у него сильно поредели волосы.

Потом мы ехали в такси. Я сидел на заднем сидении между мамой и папой. И был счастлив...

Нет, нытиком отец не был, но проблемы – во всяком случае, в разговорах с домашними – был склонен преувеличивать. Крылатой фразой в нашей семье стало его описание ветра, несколько затруднявшего – не более того – игру в бадминтон: «Ветер валил с ног».

Сейчас я думаю, что причина подобной любви к гиперболам – в детстве отца. Не самом счастливом. Его отец, Абрам Григорьевич, ушёл от жены (папиной мамы и моей бабушки) Клавдии Александровны, когда отцу ещё не было четырёх или даже двух лет. А в одиннадцать лет он лишился матери. Клавдия Александровна внезапно умерла от перитонита в 1945 году. Сохранилось несколько фотографий: бабушка с маленьким папой, одна и с неведомыми мне людьми на какой-то даче или в чьём-то деревенском доме – неясно. Станным образом (а может,

это и не очень странно) я чувствую связь с этим местом на фотографии: с воздухом, деревьями, крыльцом.

Собственно, фамилия Веденяпины – от бабушки. Это её род, небогатый дворянский род с русско-мордовскими корнями. Согласно словарю В. А. Никонова, наша немножко смешная для русского уха фамилия происходит от мордовского мужского имени Веденяпа (ну разве не смешно?). «Ведень» значит «водный», а суффикс -ап(а)- – распространённый суффикс личных имён мордвы. То есть фамилия, как часто бывает, – производное от отчества.

На похоронах отца присутствовал красивый старик лет под девяносто. Он знал историю нашего рода и готов был её рассказать. Всё, что от меня требовалось, это приехать к нему домой. Мне трудно объяснить, почему я откладывал и откладывал эту поездку, пока ехать стало уже не к кому.

Более или менее определённо я знаю только, что мои предки находились в родстве (близком ли, дальнем – не могу сказать) с декабристами Веденяпиными. Старшего брата звали не как-нибудь, а Аполлон, младшего – Алексей. Оба были сосланы в Сибирь, и Аполлон много лет потом провёл в Иркутске вместе с Волконским, Трубецким и другими.

В 1854 году, по дороге домой после своего кругосветного путешествия, в Иркутск заехал И. А. Гончаров (его лучшая книга появится через пять лет). По его собственным словам, он встречался со многими декабристами. Интересно, виделся ли с ним Аполлон? Дело в том, что Гончаров учился в том же здании, где работал и учился отец (а потом и я). Правда, во времена Гончарова там находился не Институт иностранных языков, а Императорское коммерческое училище.

В 1968 году в Саранске вышла книжка С. Конкина «Декабристы братья Веденяпины», где было опубликова-

но несколько фотографий Аполлона, аккуратного сухого старика с сурово сжатыми губами, чем-то напоминающего буддийского монаха, и его дочерей. Надо сказать, что дочь Варвара весьма похожа на мою бабушку Клавдию, тот же тип лица.

С Клавдией Александровной связана неслучайная случайность, из тех, что бывают, наверное, в жизни каждого, но от этого не менее удивительная. Между окончанием института и вступлением в профком литераторов при «Худлите» (членство в котором давало вожделенное право нигде не служить) я два года преподавал английский язык в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В один из моих первых дней в Петровском-Разумовском ко мне подошла старейшая сотрудница нашей кафедры. Собственно, она была уже на пенсии и, так сказать, сдавала дела. Подошла и спросила, имею ли я какое-нибудь отношение к Клавдии Веденяпиной. Вот тогда-то мне и стало ясно, почему из всех учебных заведений Москвы я попал именно сюда. Оказывается, на этой самой кафедре иностранных языков около полувека назад работала моя бабушка: ходила по этим коридорам, смотрела в эти окна. Может быть, ещё и поэтому мне всегда так нравилось ходасевичевское:

...А уж если сны приснятся,
То пускай в них повторятся
Детства давние года:
Снег на дворике московском
Иль – в Петровском-Разумовском
Пар над зеркалом пруда.

После смерти Клавдии Александровны отца взяла к себе его тётка, родная сестра Клавдии, Мария Александровна. Ей помогала вторая сестра, Тамара

Александровна. Я хорошо помню обеих, особенно Марию Александровну – бабу Бусю. Помню её комнаты (целых две) в коммуналке на улице Горького с множеством (во всяком случае, так мне казалось тогда) красивых старинных вещей и вещиц. В комнате побольше стоял прекрасный чёрный рояль – в молодости баба Буся давала уроки музыки.

Но при мне она почему-то никогда не играла, а может быть, я просто забыл. Зато я помню, как она вышила бисером на ткани (цветы мне нравились, кошка – не слишком) и раскладывала пасьянсы. Отец, кстати, тоже любил пасьянсы.

Баба Буся была небольшого роста, кругленькая, с мягкими руками и приятным *дореволюционным* лицом.

Она жила вместе с папиной двоюродной сестрой Наташей. Наташа была лет на пять или даже семь моложе отца. И тут мы вступаем в область семейных загадок: хотя Наташа была дочерью Тамары (сходство матери с дочерью бросалось в глаза), мамой она звала бабу Бусю. И жила у бабы Буси. Почему?

Наташа была очень симпатичная и ужасно больная. У неё был диабет. В последние годы жизни она едва отличала свет от темноты. Когда она умерла, ей не было и тридцати. Я помню её руки в кровоподтёках от бесчисленных инсулиновых инъекций.

В детстве мы не очень понимаем, что такое боль, тем более чужая. Но сейчас меня потрясает её воля: несмотря ни на что, она закончила медицинский институт, интересовалась всем на свете и могла хохотать со мной над О'Генри, Драгунским и «Кабачком 13 стульев».

Одним из её лечащих врачей был офтальмолог Святослав Фёдоров – будущая знаменитость. Между прочим, именно Тамара и её влиятельный муж Иван (директор крупной фабрики) помогли ему перебраться в Москву.

С бабой Бусей и Наташей мы были соседями в Александровке. Они тоже снимали там дачу, в пяти минутах ходьбы от нашего домика. На их участке висел гамак – чудесная вещь.

Квартира бабы Буси на улице Горького – мой первый адрес на этой земле. Несколько месяцев до моего рождения и несколько месяцев после родители (а с октября 1959 года мы втроём) жили в крохотной комнатке слева от входной двери.

У бабы Буси мы с папой бывали довольно часто. Если приезжали в обеденное время, она нас кормила. На первое почему-то почти всегда был бульон, подававшийся в чашке и, может быть, именно поэтому казавшийся мне особенно вкусным.

Смотреть на отца, слушать, как он разговаривает с бабой Бусей, было интересно и как-то *ново*.

Мне вообще нравилось наблюдать за отцом, когда он разговаривал с разными людьми, особенно незнакомыми и непохожими на него: например, с таксистом или каким-нибудь мужичком-рыболовом. В этом было что-то особенное.

На отцовском факультете училось немало знаменитостей и «членов их семей». Однажды известный актёр Театра на Таганке спросил у отца разрешения прийти к нам в гости с Высоцким. Шёл 71-й или 72-й год. Высоцкий был в зените славы. На нашей «Язузе» (зелёный огонёк, как в такси; бобины с толстой, но непрочной коричневой плёнкой) мы всё моё детство слушали Высоцкого, Галича, Окуджаву и Юрия Кукина («Понимаешь, это странно, очень странно...», «Ты что, мой друг, свистишь...» и т. д.). Мне нравилось, как Кукин разговаривает с публикой между песнями. Одну его остроту я до сих

пор помню дословно: «Свои ранние песни я не пою, потому что неохота и стыдно. Их никто не поёт – по тем же причинам».

Уверен, что девяносто девять человек из ста в СССР начала семидесятых были бы счастливы принять у себя Высоцкого. Но моя мама была тем самым *одним*. И связано это было не с чем-нибудь, а исключительно с её почти патологической щепетильностью.

Видит Бог, мама не меньше меня ценила нашу интеллигенцию, но одна довольно распространённая интеллигентская черта её просто бесила: тщеславие и чванство, привычка как бы между прочим упомянуть фамилию какой-нибудь звезды, с которым ты *только вчера* разговаривал по телефону, пил, ездил на рыбалку и пр.

«Зачем мы Высоцкому?» – примерно так формулировала она своё сомнение. И как ни уверял почуявший неладное актёр, что *Володя* сам выразил желание познакомиться с отцом и всей нашей семьёй (уверение, которое я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть), мама стояла на своём. Короче говоря, встреча не произошла.

В этом вся мама. Во всякой пусть даже *слегка* сомнительной ситуации она предпочитала сказать «нет».

И никогда, ни в одной компании, не стремилась произвести впечатление. Признаюсь, что порой это вызывало у меня досаду. Как было бы здорово, если бы вместо того, чтобы внимательно слушать какого-нибудь типа или «типессу», мама сама сказала бы что-нибудь потрясающее (я-то прекрасно знал, что она на это способна), но, как правило, она ничего такого не делала.

Впрочем, со временем я успокоился, потому что заметил, что все (ну или почти все) и так всё понимают. А кто не понимает – и Бог с ними. Как говорил Исаак Башевис Зингер, настоящий писатель не должен нравиться каждому, а только лучшим читателям своего поколения.

Первое, что вспоминают все, с кем я разговаривал о маме, это её красота. Отзывы колеблются в диапазоне от испуганно-восторженных («Самая красивая женщина, которую я видел в жизни») до просто восторженных («Красавица»).

В маме — думаю, Вертинский бы со мной согласился, — был «шик». Помимо всего прочего (не могу и, честно говоря, не хочу расписывать разнообразные достоинства её лица и фигуры), мне очень нравился её низкий, приятного тембра голос.

Ещё в ранней молодости мама научилась шить и на швейной машинке с ножным приводом *обшивала* всю нашу семью. Я до сих пор помню бабушкино тёмно-коричневое платье и мой нежно-синий вельветовый пиджак, в котором я щеголял лет в одиннадцать-двенадцать. Помню мамины журналы с фотографиями моделей и выкройками: «Прамо», «Бурда» и т. п.

Умение шить пригодилось маме после смерти отца. Чтобы подработать, она начала брать «заказы» — её инженерской зарплаты не хватало.

Инженером, как я понимаю, мама стала отчасти случайно, отчасти вынужденно. Станкин, который она закончила, был одним из немногих (двух?) московских институтов, принимавших детей «врагов народа».

Правда и то, что она *могла* там учиться: она отлично чертила, знала и любила математику, химию. А кроме того, в принципе ценила реальные вещи, к каковым инженерное дело (во всяком случае, в те годы) относилось, а, скажем, литературоведение — нет.

Когда, примерно с пятого класса, я начал поговаривать о том, что хотел бы стать литературоведом, мама была смущена. Какое бы то ни было «ведение» как профессия казалось ей сомнительным и слишком открытым для жульничества и профанации.

Впрочем, то, что я не буду математиком, стало понятно маме давно, а именно в тот момент, когда посредине её объяснения, как решать какую-то элементарную арифметическую задачку про овец, которых в таком-то количестве вывели на пастбище, а столько-то оставили в овчарне, я мечтательно поинтересовался, какого эти овцы цвета и какая в тот день была погода.

Я уже несколько раз упоминал в своих записках Александровку, деревеньку километрах в тридцати от Москвы, за усадьбой Ильинское. Недалеко от Ильинского размещалась больница, куда — похвастаюсь — меня, трёхлетнего, возили промывать желудок после игры в «козочку», во время которой я честно сожрал чудовищное количество каких-то сорняков...

Каждое лето, в первых числах июня, к нашему московскому дому подъезжал грузовик с откидывающимся задним бортом. Папа с водителем и суетсящейся, спотыкающейся, норвящей всё поломать и разбить бабой Нюрой («Нюрочка, что ты делаешь, это же тарелки!») начинали вытаскивать и грузить вещи.

Нет, не так, основную часть вещей выносили заранее, ещё до прихода грузовика. Вокруг собиралась группка зевак.

Видимо, на даче было туго со спальными, да и с сидячими местами — тахту и стулья везли из Москвы. Мама, папа, бабушка, баба Нюра бегали туда-сюда, носили, подавали. Я тоже помогал, носил свои вещи: коробку пластилина, альбом для рисования, тщательно упакованный — чтоб не было понятно, что это, — ночной горшок.

Ехал я либо в кузове — это было самое интересное, либо в кабине с кем-нибудь из взрослых — тоже неплохо.

Однажды, залезая в грузовик, баба Нюра сильно поранила ногу — пошла кровь. Все заахали, бабушка начала

судорожно рыться в сумках в поисках перекиси водорода, бинта и йода. Единственным человеком, сохранившим полное спокойствие, была сама баба Нюра: «Анукунай, не волнуйси, до свадьбы заживёт».

Большую часть лета я жил на даче с бабушками. Наш домик находился на самом краю деревни. Сразу за ним начинался лес, не очень большой (чтобы попасть в большой, нужно было ехать в Петрово-Дальнее), но всё-таки. В грибные годы мы находили там и лисички, и подберёзовики, и даже белые, не говоря уже о сыроежках. Баба Нюра очень любила ходить за грибами. Как-то раз она ушла в лес сразу после завтрака и пропала. Стало темнеть, а её всё не было. Мама с бабушкой уже планировали спасательную экспедицию. Наконец она вернулась. С пустой корзиной.

— Нюраша, что случилось?

Выяснилось, что сначала ей долго ничего не попадалось. Потом она нашла сразу много. Потом рассыпала всё, что нашла. А потом два часа искала то, что рассыпала...

Слева, если стоять лицом к дому, тянулась просёлочная дорога, за которой — в зависимости от месяца — зеленело, золотилось, коричневело огромное поле ржи. С васильками и фантастическим количеством божьих коровок.

Несколько лет назад я привёз сюда моего институтского товарища — показать Александровку. Наш дом — на месте (во всяком случае, в тот день был на месте) и даже не очень изменился, а вот там, где раньше *волновалась желтеющая нива*, теперь раскинулся чудовищный коттеджный посёлок — уверен, что в его название входит аббревиатура VIP или слово «элитный». Каждый коттедж — нечто среднее между районным детским садом, небольшой тюрьмой и сельским дворцом культуры. А и то ска-

зять: чем, собственно, Александровка лучше других мест ближнего Подмосквья?

Но в шестидесятые годы она ещё существовала. Можно было идти вдоль поля и смотреть на закат.

Родители работали и приезжали только на выходные. Мама — каждую неделю, папа — почти каждую. Отпуск (обычно август) они проводили с нами, а если и уезжали куда-нибудь, то ненадолго.

Каждый пятничный вечер в июне-июле был особенный. Мы с бабой Аней шли к автобусной остановке встречать маму. Деревня располагалась с правой стороны от шоссе. Слева росли высокие сосны и начинался спуск к Москве-реке. Обычно мы переходили через дорогу и ждали у сосен. Кстати, именно в этом месте стояли сухие пни, в которых водились удивительные, сантиметров пять в длину, жуки с хваткими клешнями и мохнатыми лапками. Они умели летать, расправив полупрозрачные сиреневые крылья. Эти жуки — одно из самых сильных энтомологических впечатлений моего детства.

Автобус приходил в начале седьмого. Застыв, как писал Набоков, в «классической позе детства», то есть на коленях, а точнее, на четвереньках, я вглядывался в воздушный просвет между автобусным днищем и тёмно-серой полосой асфальта, где, как в перевёрнутом кукольном театре, начинали мелькать ноги сходящих пассажиров, и безошибочно узнавал мамины — в белых босоножках. Бабушка, смотрящая из своей более высокой точки, ещё не знала, что мама приехала, а я уже знал и кричал: «Мама приехала!» Когда автобус трогался, почти все, кто вышел, спиной к нам двигались по дорожке, ведущей в деревню, и только мама никуда не шла, а стояла и смотрела в нашу сторону. В этом мгновении было что-то бездонное.

Вообще-то мама была человеком чётким и внятным и, в отличие от меня, умела быстро и точно реагировать на разные, в том числе непростые жизненные коллизии, но иногда, в ситуациях, казалось бы, пустяковых, внезапно терялась и вела себя по меньшей мере странно. Гуляя однажды по нашему дачному леску, мы вышли на поляну (я выбежал первый), где — о, ужас! — юноша держал на коленях девушку, на которой не было ни рубашки, ни футболки, ни хотя бы лиф... (нет, это слово я не могу написать), в общем, ничего. Синело небо, зеленела листва, белели цветы, которые мы с мамой называли «звёздочки», желтели лютики, голубели незабудки. Я в оцепенении глядел на полуобнажённых любовников (внушительная грудь девушки, понятное дело, произвела на меня особенно сильное впечатление), пока мама не увела меня с зачарованной поляны («Пошли, пошли»). Какое-то время мы молчали, а потом мама неожиданно сказала: «Ты думаешь, это мальчик и девочка? Нет, это два мальчика — просто они так играют».

Зачем она это сказала? Чтобы предотвратить бесполезный преждевременный интерес к девочкам, глупые эротические фантазии, онанизм?.. На мой законный вопрос, почему у одного из мальчиков такая необычная грудь, мама отвечала, что иногда так бывает, и даже — вот это было уж совсем лишнее — что это такая болезнь. Поскольку я твёрдо знал, что мама врать не может, я целый год, если не дольше, время от времени со страхом скашивал глаза на свою грудь — не поразило ли и меня это жуткое заболевание?

На другом берегу Москвы-реки, за полем (неужели кукурузным? кажется, да) была дача отправленного в отставку Хрущёва. Где-то неподалёку жил знаменитый авиаконструктор Илюшин. Его сын (Сергей?), шестнадцатилетний,

а может быть, даже восемнадцатилетний парень часто приходил купаться на наш пляж. Этот пляж вызывает у меня устойчивую обонятельную ассоциацию: смесь запаха дешёвого табака, давленных помидоров, речной тины и, конечно, мочи в кабинках для переодевания.

Обычно Илюшин приходил не один, а с друзьями. Он мне очень нравился. У него была отличная фигура и мужественное лицо. И модные плавки, каких не было ни у кого, с нарисованными на них западными купюрами: фунтами, долларами и франками. Его приятели и приятельницы мне тоже нравились. Мне ужасно хотелось с ними дружить, но я понимал, что это маловероятно — самому младшему в этой компании было на вид не меньше четырнадцати. А мне — шесть. И на вид тоже.

Вдруг случилось чудо. Сергей подошёл ко мне и позвал погулять с ним и его друзьями. Почему — остаётся для меня загадкой. Может быть, сработали мои заискивающие взгляды, а может быть, потому что ему нравились мои родители. Так или иначе, мы отправились гулять, а потом зашли к приятелю Сергея, нашему соседу по Александровке. На мой вкус, вечер получился роскошный. Мы разговаривали, причём сидя не на террасе, а в таинственной полутёмной комнате в глубине дома. Правда, ко мне обращались преимущественно девушки, но тем не менее. А кроме того, они были красивые. Потом мы играли в карты. Многие курили. Дошло до того, что я тоже попросил сигарету и получил её.

В общем, когда я вернулся домой, от меня разило табаком. Однако на этот раз мама не растерялась. Спокойным голосом, начисто лишённым ругательных интонаций, она довела до моего сведения, что если я буду курить, то не вырасту. Вырасти мне хотелось гораздо больше, чем курить, — я был доверчивый мальчик.

В Александровке, на нашей дачной террасе, я испытал своё первое, как мне кажется, собственно поэтическое желание: иметь у себя такую вещь, которая была бы абсолютно свободной и в то же время вполне моей. Правда, тогда я думал, что для этого нужны не слова, а пластилин. Я мечтал о профессии скульптора. Но ещё сильнее мне хотелось быть клоуном. Услышав о моей любви к цирку, кто-то, в Москве, подарил мне пластмассовую мини-копию Олега Попова, которого, признаться, я никогда не видел. Из клоунов я видел только Енгибарова и был потрясён. Во-первых, его прыжком с зонтиком из-под купола цирка (так начинался его номер) на крохотный кусок брезента, который держали с четырёх углов оранжевые униформисты, — наверное, с высоты этот брезент должен был смахивать на почтовую марку. И во-вторых, его поразительным жонглированием: тем, как он внешней стороной стопы по идеальной дуге забрасывал на голову блюдце, на блюдце — чашку, а в чашку — кусочек сахара...

Как-то раз вместе с мамой к нам на дачу приехали несколько человек с её работы. Один из них, не утруждая себя попыткой поиска чуть менее традиционной темы для разговора, поинтересовался, кем я хочу стать, когда вырасту.

— Клоуном.

— Как Олег Попов?

Я не поверил своим ушам. Конечно, я знал, что я не очень высокий, но всё-таки не двадцать же сантиметров!

— Почему? Больше, чем Олег Попов.

— Правильно, — не понял меня мой собеседник. — Плох тот солдат, который не хочет быть генералом.

Теперь не понял его я, и разговор увял.

Показательно, что мама, долго хохотавшая потом над нашей беседой, не стала ничего объяснять своему коллеге, явно впечатлённому моими недетскими амбициями.

С Александровкой связана ещё одна история. Из серии «хотите — верьте, хотите — нет». Большинство, разумеется, не верит, но моя сестра, врач, считает, что в принципе такое возможно. Дело в том, что я *помню*, как родители на нашей террасе обсуждают сообщение о смерти Бориса Пастернака. Пастернак, как известно, умер 30 мая 1960 года. Значит, скорее всего, это июнь. Мне восемь месяцев. Period.

На первой же странице пастернаковского романа, который — не буду врать — я прочитал несколько позже, я увидел фамилию Веденяпин и обнаружил, что действие начинается в канун Покрова. 14 октября — мой день рождения. Это совпадение, конечно, ничего не доказывает, но о чём-то говорит.

...Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

Однажды, в конце весны, мы с папой и мамой вышли из метро и, обогнув слева Театр на Таганке, двинулись по улице вниз, к нашему дому. Мне было уже года четыре, и я шёл рядом с родителями, но чуть в стороне. Вдруг мама как-то странно поглядела на отца и, кивнув на меня, сказала: «А что это за мальчик тут идёт? Кто это такой?»

У меня прямо всё перевернулось внутри от ужаса. С криком «Это я, ваш сын, Дима Веденяпин!» я бросился к ним. Мама — ко мне. Помню её слёзы.

У нас на Таганке, да и потом на Юго-Западе бывало довольно много гостей: Володя Гандельман с Мариной; Панкратьевы; Юра Шерман с Инной и Мишкой; Зина Панина с Женей Игнатовым; Тося; Олег Ермаков; семей-

ство Шаргородских и многие другие. Некоторые мужчины приходили в костюмах и галстуках. Разброс профессий был, что называется, по всему спектру: переводчики, учителя, архитекторы, инженеры, географы, экономисты, физики, врачи. Не хватало разве что артистов и писателей.

Мы тоже ходили в гости. В чужих домах всё было иначе: всегда немножко другой запах, другая еда. Вернее, еда-то была в основном та же самая: гастрономическое счастье семидесятых – салат оливье, винегрет, домашние пироги и пирожки. Но приготовлены они были не так, как у нас дома, – и вкус тоже был какой-то непривычный. Ничем не отличались только хлеб, сыр, колбаса, картошка и красная икра, засунутая в половинки крутых яиц.

Если во время наших «гостеваний» мы выходили погулять в парк или на бульвар, там тоже было всё не так, как в нашем Тетеринском сквере или позже – в юго-западном леске. Даже листья шуршали по-другому.

В 1969 году заканчивается наш таганковский «коммунальный» период и начинается новая жизнь в отдельной трёхкомнатной кооперативной квартире в девятиэтажке на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Честно говоря, гораздо более грустная. Кажется, квартира была куплена ещё в 68-м на деньги, заработанные отцом в Монреале (ЭКСПО-67), но переехали мы в 69-м. Очевидец рассказывал мне, что на собрании кооператива, где решалось, кто на каком этаже будет жить (и мама, и отец хотели жить на четвёртом, в крайнем случае на пятом), мой папа, прежде чем тащить бумажку с номером, перекрестился – и вытащил четвёртый этаж.

Баба Ньюра осталась на Таганке. Впрочем, она часто приезжала к нам, а мы ездили к ней.

Лето 69-го — рубежное: вместо того чтобы, как всегда, ехать в Александровку, мы с Шерманами отправились в Карпаты. Это путешествие остаётся — до сих пор! — самым волшебным путешествием моей жизни. И совсем не только потому, что многое там происходило для меня впервые.

А что касается «впервые», то я и вправду никогда до этого не останавливался в гостинице, не жил в палатке, не ездил на мотоцикле (пусть в коляске, но тем не менее), не сидел на телеге и не стоял на *полонине*, слушая, как пастухи играют на трембитах, а сбившиеся в кружок овчарки им подпевают-подвывают.

И никогда не видел, как форель, развернувшись *против* сногшибательного (в буквальном смысле слова) течения, дежурит у порогов в надежде на дар свыше, то есть на то, что может свалиться к ней вместе с гремящей вертикальной стеной воды.

Естественно, никакие поплавки тут не годятся.

Кроме того, форель чрезвычайно наблюдательна. Стоит ей заметить тень от удочки, рыбалке — во всяком случае, в этом месте — конец. Приходится действовать крайне осторожно. Наживка забрасывается за несколько метров до порога, а потом проводится по течению, вы позволяете ей нырнуть вниз, и тут — внимание! — нужно уметь отличить вожделенный упругий рывок (*есть!*) от просто мощной струи воды.

Разумеется, рыбачить рядом в такой ситуации невозможно. Мы распределились вдоль реки, и я остался один на один с пенящейся водой и прибрежной зеленью. Вдруг леска натянулась и пошла в сторону, я подскёк и после ошеломительной борьбы (в какой-то миг леска ослабла — неужели сорвалась? — нет!) вытащил увесистую рыбину ослепительной красоты: серебристо-голубую в тёмно-зеркальных крапинах. И никто этого не видел,

никто *ещё* этого не знал. Сверкала и шумела река, молчали деревья. Я положил форель в полиэтиленовый пакет и, подавив импульс побежать со всех ног, нарочно замедлил шаг, чтобы оттянуть то, что должно было произойти и отчего моё сердце заранее победно выпрыгивало из груди: поздравительно-восхищённый присвист отца.

Когда в конце восьмидесятых я посмотрел на кассете «Меморандум Квиллера» (я уже упоминал о сходстве отца с главным героем), то в первых же кадрах (длинная пустынная улица с фонарями) неожиданно узнал ночной вид из окна нашей львовской (ужгородской?) гостиницы: то же предчувствие затаившегося приключения, какого-то особого тревожного счастья.

25 июня 1970 года родилась моя сестра. Забавно, что сегодня, когда я это пишу, тоже 25 июня, правда, тридцать восемь лет спустя. Дневник сумасшедшего.

Более милого, трогательного и уютного существа я не видел. Такие яркие свойства Олечкиной природы, как... тут я хотел перечислить недостатки, но потом передумал. Во-первых, двух идеальных детей в одной семье не бывает. А во-вторых, я не ходил в детский сад и не ездил в пионерлагерь. А Ольга ходила. И ездила. И вообще, дело не в недостатках и достоинствах (достоинств, конечно, тоже хватает), а в том, что Ольга — самый родной мне человек на всей земле. Вот и всё.

Надо сказать, что она мало изменилась. В том числе — внешне. Обычно человек вырастает по отношению к своей первоначальной длине на 110-140 сантиметров. Ольга выросла всего на сантиметр (ну хорошо, метр), но всё равно, как была, так и осталась малявка малявкой.

В моей детской нежности к ней было даже что-то болезненное. Я любил её до самозабвения и безумно боялся, что с ней что-нибудь случится. Безумно. По-види-

мому, она это чувствовала и не отказывала себе в удовольствии попугать и меня, и родителей, не отстававших от меня в своём родительском обожании. Например, лет до трёх она «закатывалась»: начинала рыдать — первое «А-а-а!» звучало громко и уверенно, а потом воцарялась зловещая тишина (рот открыт, лицо пунцовое), и следующего, так сказать, разрешительного «А-а-а!» не происходило. Затем ребёнок обмякал, пунцовость сменялась синеватой бледностью, и наступала смерть — на самом деле минутная (в среднем) потеря сознания — но мне казалось, что всё, конец.

До сих пор, когда я слышу детский плач с затянувшейся паузой после первого «Ля-я-я!» или «А-а-а!», у меня всё обрывается внутри.

Похоже, что чем дороже для тебя какое-нибудь воспоминание, тем оно герметичнее: практически невозможно объяснить другому, что в нём такого особенного. Почему, например, — как раньше писали, — *вот уже* тридцать пять лет я помню, как крохотная Оля вбегает утром в комнату с криком: «Мама, мама, мне снилось, что я летаю — без самолёта, без вертолёта, без птички!» Или как мама, папа, трёхлетняя Оля, Олина подружка Маша Шифферс, Евгений Львович, Лариса (Машины родители) и я идём купаться на пруд. Пруд — на другой стороне Ленинского проспекта, у лесопарка, противоположным краем граничащего с общежитиями Университета дружбы народов («Лумумбарием»). Понятно, что сегодня в этом пруду не станет купаться даже самый отчаянный и отчаявшийся бомж. Но то сейчас, а тогда в лесу, с нашей стороны Ленинского, ещё росли грибы, которые можно было собирать и есть, не опасаясь тут же упасть замертво.

Я написал «идём купаться», но Оля с Машей не идут, а бегут. Без малого полчаса, которые занимает дорога

до пруда. Переговариваясь и хихикая. В явной гармонии с воздухом, землёй, травой, бабочками и кузнечиками. Чувствуется, что они могут пробежать ещё столько же, а может, и десять раз столько. Дыхание – абсолютно ровное, как будто они не бегут, а играют в песочнице. Детская телесная мудрость!

Тем же летом мы ездили в дом отдыха на Клязьму, где сначала я, а потом отец спасли двух утопающих. Первой попыталась утонуть моя сестра. Дело было так: мы с мамой сидели на пляже. Ольга, ужасно трогательная и хорошенькая в красной панамке с белыми цветочками, перебирала камушки у воды. Кажется, маму кто-то окликнул, я оглянулся посмотреть, кто это, а когда – буквально через минуту – повернулся, Оли не было, и только – как в плохом кино – по воде плыла её панамка в цветочек. Я бросился к реке и метрах в двух от берега на глубине сантиметров семьдесят увидел Олино тельце, безжизненное, но, к счастью, мгновенно ожившее в моих руках и тут же выкрикнувшее своё грозное «А-а-а!» – за которым, как и следовало ожидать, повисла леденящая душу пауза.

Через несколько дней отец примерно на том же месте, только чуть дальше от берега, вытащил тонущую женщину. Симпатичную. Слава Богу, в отличие от Оли, она не закатывалась, а, откашлявшись и отдышавшись, поцеловала отца в щёку в знак благодарности. В этом новом кино отец ободряюще улыбнулся спасённой красавице целомудренной улыбкой положительного героя.

В моей комнате вместе с фотографиями родных висит ещё одна: на ней Евгений Львович Шифферс, его жена Лариса Данилина и их дочка Маша. Знакомство с этой семьёй – одно из главных событий семидесятых годов. Для меня – точно. Думаю, что и для мамы.

Евгений Львович был театральным и кинорежиссёром, писателем и богословом.

Отчётливо помню, как я (пятнадцатилетний) возвращаюсь зимой из школы. Наши юго-западные девятиэтажки мрачнеют. В воздухе — бред и уныние советской власти. Всё пропитано чушью. Но я знаю, что вот сейчас буду проходить мимо той части «Сигмы» (длиннющего дома, тянущегося вдоль улицы 26-ти Бакинских Комиссаров), где на седьмом этаже работает Евгений Львович. Иду, поднимая глаза на его окно. Шторы, как обычно, задёрнуты, но видно, что горит настольная лампа.

Этот человек в одиночку пробил всё то, что наша тогдашняя система предлагала в качестве неотменяемой *объективной реальности*. Есть такая суфийская притча: учитель выступает перед многочисленными слушателями. Посредине его выступления в комнату входит другой учитель — настоящий. Его никто не знает. Он тихо входит и тихо садится в уголке в последнем ряду. Вскоре все взоры обращаются на него.

В Евгении Львовиче была эта особая энергия. Притягательность. Рядом с ним все казались немного не в фокусе.

Интерес Евгения Львовича к йоге оказался (что немудрено) заразителен. И Лариса, и Маша со временем стали преподавателями йоги. Но когда мы познакомились, Лариса ещё снималась в кино и много дублировала. Её голосом говорили чуть ли не все знаменитые западные актрисы. Она очень много работала и очень мало спала: часов по пять, не больше. Мама с Ларисой подружились и часто забегали друг к другу в гости. От нашего подъезда до их в соседнем доме — две минуты ходу. Мои разговоры с Евгением Львовичем (разумеется, говорил в основном он, а я слушал) на прогулке или в его комнате — из самого значительного, что было у меня в жизни.

У некоторых семей много родственников. В разных городах, в разных странах. А у нас мало. И всегда было мало. Со стороны отца — баба Буся, Тамара, Наташа. Ещё Абрам Григорьевич, мой дед, но они с папой почти не виделись. У нас, на Юго-Западе, дед был один раз. Оказался немножко похож на Луи де Фюнеса, ну и, конечно, проглядывало фамильное сходство с отцом: такой же маленький и симпатичный. Он на несколько лет пережил сына. Мама пошла на похороны. И вдруг, стоя среди незнакомых людей, разрыдалась так, что не могла остановиться. Как будто ближе Абрама Григорьевича у неё никогда не было. Уже никто не плакал, а она всё рыдала и рыдала. Мне кажется, я догадываюсь почему.

С маминой и бабушкиной стороны — тётя Дося и тётя Женя, бабушкины родные сёстры. Тётя Дося, у которой никогда не было собственной семьи, жила в Одессе. Тётя Женя с семьёй — в Москве, и всегда недалеко от нас: сначала на Солянке, а потом — в Беляеве. Тётя Дося была довольно крупная, тётя Женя — маленькая и изящная, но обе, каждая по-своему, прекрасные и очень тёплые. Когда я впервые увидел всех трёх сестёр вместе, то, помню, подумал, каким был бы мир, если бы все люди были такие. У тёти Жени был муж Моисей Львович, похожий на мудрого старого льва, и сын Боря. У Бори были (и есть) жена Алла, дочка Милочка и сын Женя. Are you still there?

В старости Моисей стал слепнуть, а к концу жизни совсем ослеп. Помню, как — вскоре после тёти-Жениной смерти — я вошёл к нему в комнату, и он, почти слепой и ужасно несчастный (они с тётей Женей были невероятно привязаны друг к другу), одиноко сидел на кровати, по-еврейски покачиваясь вперёд-назад. Тем не менее, насколько я понимаю, именно Моисей был движущей силой выезда семьи в Израиль в 1982 году.

Про маминого двоюродного брата Борю, врача-кардиолога, я писал школьное сочинение на тему «Человек, на которого я хочу быть похожим». В молодости Боря был застенчивым и в то же время внутренне сильным – красивое сочетание.

Помимо медицины, он всю жизнь занимался птицами. В квартире в Беляеве было, наверное, тридцать, а может, и сорок клеток с амадинами. И пять аквариумов.

Скорее всего, моя странная любовь к попугаям коренится в детском впечатлении, полученном в доме Шаргородских, правда, не в Беляеве, а в их коммунальной квартире на Солянке. Я шёл по полутёмному общему коридору и вдруг через приоткрытую дверь соседской комнаты увидел огромного зелёного попугая (очевидно, александрийского) в кольце. Я ещё не читал «Остров сокровищ», но почему-то (почему?) сразу же представил себе корабельную каюту и далёкое, полное захватывающих приключений плавание. С этим воспоминанием только одна загвоздка: в отличие от «пастернаковского», в котором я уверен, тут я не дам руку на отсечение, что встреча с попугаем произошла именно на Солянке. Борю спрашивать боюсь – не хочется узнавать, что я ошибся.

С моей троюродной сестрой Милой (на пять лет моложе меня) мы всё детство играли вместе, и, признаюсь, какое-то время я испытывал к ней не вполне братские чувства, которые, разумеется, тщательно скрывал. Маленькая Милка была ужасно забавная. Расскажу про неё одну – из многих – короткую историю. Милочку отдали в кружок пения. Домой она вернулась чрезвычайно довольная и гордая собой.

- Как ты пела, Милочка?
- Очень хорошо.
- А что сказал учитель?
- Плохо, девочка.

Вскоре после эмиграции из СССР Мила вышла замуж и уехала жить в Австралию, страну попугаев.

Сейчас реже, раньше чаще я думал: а вдруг всё, что случилось после моих шести лет, — сон. Вот, проснусь и увижу наше окно на Таганке, спущу ноги на наши половицы... Будет канун Нового года. Солнечно. Мы с папой начнём наряжать ёлку. Откроется наша белая дверь, и войдёт бабушка. Потом мама. Баба Нюра вернётся из магазина.

Что же, значит, я готов отказаться от детей, друзей, почти всей жизни? Но ведь это рай, а в раю всё настоящее сохранится — даже сны. А ненастоящее исчезнет. Всё равно исчезнет.

Покров

В Александровке

Эта ночь разбудила лето.
В золотом заповедном сне
Голубые полосы света
На дощатой тёмной стене.

В доме настезь окно открыто
В нарисованный серый сад.
В переполненное корыто
Капли прыгают и звенят.

Над землёй повисает низко
Бестолковый вороний гам.
Отступившее небо близко,
И терраса — как будто храм.

1981

Зима

Шёл снег. На улице ругала мама сына.
Он дулся, всхлипывал, канючил, «не хотел».
Его жалела ржавая машина,
И он её без памяти жалел.

Брёл мимо них старик с облезлой палкой,
Шла женщина в малиновом пальто –
Ему их всех в тот вечер было жалко,
Его тогда не понимал никто.

Луна желтела так же безучастно,
И снег всё так же падал кое-как...
Он понял вдруг: все взрослые несчастны;
И это в самом деле было так.

1981

Детство

Шагнуть в окно, свалиться со стола,
Открыть сервант и своровать лекарство
И понимать, что даже пастила
В сто раз важней любого государства.

Любовь и смерть пока ещё одно,
Конец ещё не потерял начало,
И умереть не страшно – всё равно
Что с головой залезть под одеяло.

1982

* * *

А. А. Ш.

*Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых
И на пути грешных не ста...
Солнце плавилось, точно Дары в потире,
В чаше двора.*

Его дом был похож на старый корабль
С водорослями по бокам;
Иерей служил, капитан плывал,
Посвящённый *знал*.

А густые слова пропадали где-то
И, сбываясь, снова возвращались ко мне;
По стене пробегали полоски света,
Косо падали листья в окне;

В желтоватой воде навзничь стыла лениво
У решётки подъезда паутина куста...
*Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых
И на пути грешных не ста...*

1983

* * *

Всё то, что было, — это то, что есть...
А то, что будет, — ну конечно, будет...
Осколки фраз, ныряющих Бог весть
В какую глубину, ужасно любит,
Безумно любит мятная жара,
Чьи голоса в наплывах переменных
Дрожат в зелёной заводи двора,
Как солнечные зайчики на стенах,
Как запах воска и далёкий лай,
Обрывки снов и мокрая рубаха...
Сквозь море света стилем бабочек
Плывёт лимонница, чтоб со всего размаха
Удариться в нагретое стекло,
Но ничего, она не унывает,
Взяла левой и снова наплывает...
Свобода? Нет, опять не повезло!

1984

* * *

Она вошла в меня, как лодка входит в гавань,
Когда на море — шторм, на набережной — мрак
И ветер гнёт в дугу упрямые агавы
И не даёт дышать, а сердце бьётся так,

Как будто вдруг просвет — и страха нет в помине,
Как будто вдруг обрыв — и отшагнуть нельзя,
Как будто вдруг прыжок — и в ахнувшей долине
Стрекочет тишина и облака скользят.

1984

* * *

«Нечаянно», «за так» и «ниоткуда».
Нырнуть в рассветный город и пропасть,
Но к ночи всё-таки возникнуть снова.
Я понял вдруг, какое это чудо.
Я понял вдруг, что ты уже не часть,
А самая что ни на есть основа,
Как дождь — основа осени... Представь
Размякший лист, прибившийся к ограде;
Асфальт в слезах; деревья в листопаде;
Такси, пересекающее вплавь
Пустой проспект; слепые фонари;
Стеклянный свет, зеркалящийся в луже;
И шум дождя, снующего снаружи
По окнам, запотевшим изнутри.

1984

Отражение

Чёрная голая ветка в оконном стекле.
Детский рисунок в альбомчике для рисования.
Рощица. Чёрные листья на чёрной земле.
Ноющий ветер. Пустая тропинка. Шуршанье.

Души как листья — на память приходит Аид.
Осень в Пицунде — на память приходит беседка.
Падают звёзды, но в пыльном окошке дрожит
Центр Москвы и всё та же безлистая ветка.

Мальчик с собакой, качели, какой-то старик,
Девочка в свитере в сумраке зеленоватом,
Тающий шёпот, внезапно сорвавшийся в крик,
Ванная с ржавой трубой и трёхцветным халатом.

Хмурый вокзал, почему-то пустое купе,
Жуткий сквозняк, неестественно острый и резкий,
Чьё-то кольцо, проблеснувшее в мокрой толпе,
Синий кораблик на серой, как дождь, занавеске.

Сон наяву, только явь как бы тоже во сне:
Полуразрушенный домик на Старом Арбате,
Низкое небо, безлистая ветка в окне,
Сумерки. Зеркало. Девочка в ярком халате.

1984

Покров

Сегодня на улице пасмурно и упруго.
Ветер воет, как скрипки в концертах Шнитке.
Наклоняясь друг к другу, дома ненавидят друг друга,
Сыпет мелкий снежок, как в стеклянности той пирамидки
Из Гонконга — богатство волшебного детства, —
Впрочем, там он, конечно, был добрый, уютный и чинный,
А сегодня — колючий и резкий — смешное наследство
Мне досталось от мальчика-Луковки и Буратино.
Только вдруг оказалось, что в этой секущей завесе
Есть заветная щель, сквозь которую можно обратно
В тот удавшийся мир, в этот поезд с пейзажика Гессе,
Где всё так же безоблачно, нежно, легко и понятно.
Но как только открылось, что это и вправду возможно,
В тот же миг это стало беспомощно и безответно:
Пробираться вперёд — иногда до отчаянья сложно,
Но стремиться назад — это, кажется, вовсе запрещено.
Утешитель-огонь, так нестрашно пылавший когда-то,
Так свободно и просто сжигавший пустые тревоги,
Замерцал, как церковная свечечка в «таинстве брата»,
Вспыхнул в самом конце сокровенной дороги.
А ведь только Ему и открыты надежды и сроки,
Облетающий лес и над полем плывущие птицы,
Только Он и способен спасти, превратив одиноких
В нераздельных, а значит, заставить пробиться
Счастье, построить такое пространство,
Где бы наши слова в замечательно слаженном жесте
Стали больше чем нашими — огненный праздник шаманства,
Превращающий тайное в явное страстного «вместе».
Дело даже не в том, что в пощёчинах хлёткого ветра
Больше веры и прочности, больше покоя и смысла,

Чем в учебнике Эккерсли, в обществе Фриды и Педро
Под тактичным присмотром любезного мистера Пристли,
Просто вдруг для меня это облако вьюжного сора,
Грязноватой крупы, бесновато кружащей над нами,
Стало призрачно-ясным подобьем того омофора,
Что блаженный Андрей на молитве увидел во храме;
Просто вдруг этот вой, эти свисты, гуденья и стоны
Стали странно созвучны безмолвью застывшей поляны,
На которой святой в глубине сотворённой иконы
Обнимает весь мир и целует ужасные раны.
Так что хныкать — грешно, тосковать и печалиться — стыдно,
Колкой вьюгой земля до последнего будет богата;
Дева держит покров — и под сжатыми веками видно:
Тихо падает снег, но совсем не такой, как когда-то.

1984

Пейзаж в такт шагам

Закатный лес, светлеющий по мере
Того, как суша переходит в море,
Похож на сон о настоящей вере,
Которая всегда воздушней горя;

Которая смиряет ретивое,
И у дверей становится на стражу,
И в такт шагам пружинит, словно хвоя
На рыжей тропке, выводящей к пляжу.

Почти вся жизнь становится вчерашней,
Как детская бесплатная свобода,
А новое не то чтобы не страшно,
Но этот страх совсем иного рода.

В нём есть огонь и выжженные скалы,
В нём есть обрыв и пыльная дорога;
В нём нет ни мха, ни ягод... даже мало
Простой травы, но неба очень много.

1985

В автобусе

У каждого своя посмертная судьба.
Автобус, как стрела, летит по перелескам.
Прозрачные лучи скользят по занавескам,
Как крестики стрекоз по рыболовным лескам.

У каждого своя посмертная судьба:
У этой девушки, откинувшей со лба
Прядь солнечных волос, у этого ребёнка,
У этой женщины... За рамкою окна,
Шурша, колыхается живая тишина,
Задёрнувшая всё как бы тончайшей плёнкой.

Всё связано со всем. И уж, конечно, то,
Что мы увидим там, — с тем, что открылось в этом
Упругом и сквозном, прохладном и прогретом,
Увяжем в темноте, преодолённой светом,

Движенье времени на взлётной полосе,
Где каждый человек — посмертный авиатор...
«Икарус», как стрела, несётся по шоссе,
Как эхо тишины, стрекочет вентилятор.

1986

На крыльце

Взгляни на флоксы в зарослях смородины
И снова в небо запрокинь лицо —
Так резидент, вернувшийся на родину,
В одних трусах выходит на крыльцо.

Прищурившись, он молча смотрит вдаль
На облака и сосны невысокие;
Всё позади: Антверпен, Лондон, Токио,
Аддис-Абеба, Осло, Монреаль.

Его судьба трудна, твоя — легка,
Но в остальном меж вами нет различия
В тот летний день, когда, презрев приличия,
Ты на крыльце стоишь без пиджака.

1987

Пустота

Между той нелепой, которую мы ведём,
И другой, счастливой, которую мы теряем, —
Вертикальное облако,
Головокружительно полный объём,
Равный мере беспамятства,
Которое верхним краем
Чуть касается темени, а нижним — самого дна
Сердца, вросшего в пятки; мы словно висим над бездной,
Ухватившись за воздух; за нами стоит тишина
Неподвижно, как лестница в хлопнувшей пасти подъезда.
Что заботит притихших воров, разучившихся красть
И с тоски возмечтавших теперь о любви и покое? —
Как войти в пустоту?
Как её обмануть?
Как упасть,
Не сломав головы? — если вправду возможно такое.

1987

Натюрморт

Человек одинок, как прозрачно стоящий стакан
На столе, опустевшем к утру от локтей и посуды;
Закононый пейзаж неподвижно уходит в туман,
Как подросток – в блаженное облако детской простуды.

Человек обречён всякий раз восстанавливать сам
Растворившийся смысл, из которого всё вырастает;
Время года легко различается по голосам,
Долетающим с улицы... Грех – это то, что мешает

Понимать и молиться, – и вот на туманной земле,
Где живут очень добрые, щедрые, мудрые люди,
Человек остаётся один, как стакан на столе,
Остаётся пустым и печально мечтает о чуде.

1987

* * *

Даже эти шаги, даже эти следы на паласе,
Даже этот пейзаж с набегающим березняком,
Всё, что было и будет, стояло тогда на террасе
В треугольниках солнца, трепещущих под потолком.

Человек в канотье с чемоданом в пустынном отеле,
Оглянувшийся на неожиданный окрик портье,
Потому что портье примерещилась кровь на постели
И лежащий ничком этот самый субъект в канотье.

Или дама в машине, закуривающая сигарету,
Наклонившись к тому, кто, умолкнув, сидит за рулём;
Чуть подавшись назад и направо, навстречу ответу;
Сигаретный дымок, как крыло, у него за плечом.

Но потом всё уходит, и только в бревенчатом доме
Белокурая девочка с чайным подносом в руках,
В белом платье, с бантом, помедлив в кухонном проёме,
Выплывает к гостям с пирогом в именинных свечах.

Но и это уходит, лишь кружатся белые мухи,
И старик, помолясь, раскрывает святые уста,
Чтобы кротко и просто поведать землянам о Духе,
От которого радость, сияние и теплота.

В этих нежных волнах золотистого и голубого
Ни террас, ни машин, ни раскуриваемых сигарет;
Дверь сама открывается настезь в клубящийся свет...
Страшно: падая в небо, не вспомнить заветное слово.

1987

Трава и дым

Одуванчик

Жизнь моя в столбе бесплотной пыли,
В облаке, расплывшемся от слёз,
В зеркале, которое разбили,
А оно очнулось и срослось.

В комнате, как в солнечном осколке
Озера, сверкающего сквозь
Листья и ослепшие иголки,
Пляшут пряди солнечных волос;

Рыбаки спускаются по склону
По траве, блестящей от росы;
Папа говорит по телефону,
Обречённо глядя на часы.

Даже в зимней обморочной давке,
В стёклах между варежек и шуб
Тонкие секунды, как булавки,
Падают, не разжимая губ;

Но не зря в серебряном конверте
Нас бесстрашно держат на весу –
Как от ветра, спрятавшись от смерти,
Одуванчик светится в лесу.

1994

Гроза

Серебряная солома
Бьётся в окно.
Бледная как полотно
Комната глохнет от грома.

1986

* * *

Человек подходит к микрофону.
Утро отражается в реке.
Женщина летает над газоном,
Полулёжа в красном гамаке.

Сонная Австралия. Зелёный
Летний день. Залитый солнцем джип.
Смуглый фермер, с детства умудрённый
Тайным знанием бабочек и рыб.

Не спеша потягивая виски,
В кресле у окна сидит старик.
Не спеша потягивая виски,
В зеркале сидит его двойник.

Девочка играет с обезьяной.
Негр в очках копается в саду.
Над зеленогрудую поляной
Вьётся белоснежный какаду.

Если радость — это чувство света,
Выстрели из фотопистолета
В это небо, полное тепла,
И оттуда с серебристым звоном
На поляну рядом с микрофоном
Упадёт кашеева игла.

1987

Фотография

В стеклянном воздухе торчит железный прутик;
Асфальт, как солнце, светится, дрожа.
На высоте седьмого этажа
Минута прилепляется к минуте,

Выстукивая светло-серый лес
С травой и перевернутой листвою,
Тропинкой, пустотой и дождевою
Сквозящей кляксой пасмурных небес.

И в этот лес, как будто в никуда,
Уходит неподвижный человек
В плаще и с целлофановым пакетом,
Бесцветным и блестящим, как вода.

Его спина по цвету как асфальт
И как бы безотчётно совмещает
Прозрачный лес, который всё прощает,
И этот острый воздух из стекла.

И нужно всё расставить по местам,
Уменьшившись до двух сплетённых свечек,
Чтоб выяснить, что милость только там,
Куда уходит фоточеловек.

1986

* * *

В толпе весёлых палочек, в плену
Зеркальных сквозняков балетной школы,
В прозрачности от потолка до пола,
Придвинувшейся к самому окну.

На улице, в кольце цветного слуха,
В лесу, где память бьётся на весу,
Вибрируя, как золотая муха,
Похожая на добрую осу

Над яблоком в купе, когда часы
Стоят, прижавшись стрелками к рассвету, —
Две полосы серебряного цвета
Над чёрным краем лесополосы.

Разбившись насмерть в пелене тумана,
Мы гладим хвою в глубине пробела,
Где голоса летают над поляной,
Проделав дырку в зеркале Гезелла;

Вдоль сосняка, сквозь сумеречный дым,
По кромке дня пробравшись без страховки,
Мы наяву стоим у остановки
На воздухе, оставшемся пустым.

1995

* * *

Д. У. и Е. С.

1

Там хорошо, где нас нет:
В солнечном лесу, в разноцветной капле,
Под дождём, бормочущим «крибле-крабле»,
В зелени, оранжевой на просвет.

На трубе сидели не две, а три.
Слава «И», отважившейся остаться.
Здесь надежда, вера и правда братства
Облаков, дрейфующих в Снегири.

За столом сидели не два, а три.
И всегда невольню, почти некстати
Память? душа? — непонятно, но что-то внутри
Вдруг становилось прозрачнее, легче, крылатей.

Что-то как будто сдвигалось, всплывало со дна
И возникало, зеркалясь, как сумерки в скрипе
Сосен за окнами, смутно похожее на
Оттиск бессмертья на выцветшем дагерротипе.

1992-1995

2

Там хорошо, где нас нет:
В солнечном лесу, в разноцветной капле,
Под дождём, бормочущим «крибле-крабле»,
В зелени, оранжевой на просвет.

На краю сиреневой пустоты
Человек как чёрточка на бумаге.
Лётчик, испугавшийся высоты,
Открывает глаза в овраге.

Воздух скручивается в петлю
По дуге от чужого к родному.
Человек произносит: «Люблю!»
И на ощупь выходит из дому.

Ночь, как время, течёт взаперти.
День, как ангел, стоит на пороге.
Человек не собьётся с пути,
Потому что не знает дороги.

1992

* * *

Он просиял и подошёл к окну,
Дрожавшему от грохота трамвая,
Вплетённого в живую тишину,
Звенящую сквозь снег как неживая.
И, вглядываясь в этот снег и свет,
Упавший навзничь в неприятном сквере
На комя грязи и клочки газет,
На праведных и грешных в равной мере
Прохожих без особенных примет,
Он рассудил не рассуждать о вере,
А просто верить в то, что смерти нет,
А милость есть – как в жизни есть потери,
Хранящие от сотни горших бед,
С рождения дежурящих у двери.

1986-1997

* * *

Облако, прошитое пунктиром;
Чёрные отрезки в пустоте.
Тишина, влетевшая в квартиру
С непонятной вестью на хвосте.

На шкафу слоновий жёлтый бивень;
За окном висят наискосок
Шелестящий гоголевский ливень
И звенящий пушкинский снежок.

На столе двенадцать сшитых писем;
Вдалеке шершавый южный свет,
Лунный блик на чёрном кипарисе,
Виноградный белый парпет;

Звездопад, сиреневые горы,
За горами в тучах комаров
Деревенский домик за забором
Длинношеих солнечных шаров;

Рядом в бесконечно чутком мире
Суетится остренький Порфирий,
Свидригайлов к Дуне пристаёт,
А Ставрогин к Тихону идёт,

По дороге превратясь в площадку
В камышах на берегу реки,
Где старик в вонючей плащ-палатке,
Замерев, глядит на поплавки.

Клюнуло! Рыбак привстал, метнулся
И с разбегу к удочке прилип;
В тот же миг внучок его нагнулся
И сорвал отличный белый гриб.

Свидригайлов вовсе не для смеха
Заряжает скользкий револьвер —
Барин, мол, в Америку уехал...
«Аз», «Добро», но всех главнее «Хер».

Бабочка с хрустальным перезвоном
Чокается с лампочкой и пьёт
Сумерки, как дачник чай с лимоном,
А Ставрогин всё-таки идёт

На чердак в соседи к пыльной швабре...
В дальней чаще полыхает скит.
Над столом на медном канделябре
Кроткая карамора сидит.

Облако, прошитое пунктиром.
Поплавок, кувшинка, стрекоза.
Тишина, влетевшая в квартиру.
Широко раскрытые глаза.

1985

* * *

Е. Л. Ш.

Сделай себе пару очков, которые называются «очками смерти», и через эти «очки смерти» смотри на всё.

Савонарола

1

Есть мир и Бог; мир, человек и Бог;
Открытость миру и открытость Богу;
Есть камень у развилки трёх дорог
И путник, выбирающий дорогу.

...Погибли все — и тот, кто захотел
Разбогатеть и поскакал направо,
И кто свернул туда, где власть и слава...
Лишь тот, кто выбрал смерть, остался цел.

2

Есть лес и снег, пустыня и вода,
Круг Зодиака, воздух, время года,
Земля и небо, слава и свобода,
Отчаянье и память, «нет» и «да».

Есть ад и рай с его рукой-лучом,
Пророки, маги, звёзды, птицы, листья,
Художник, гравирующий мечом,
Боец-монах, сражающийся кистью:

Зелёный север, жёлтый юг, восток
Более снега, красный запад, синий
Слепящий Центр; молитва, пепел, иней
И человек, который одинок.

3

Я полюбил тебя, бессонный человечек.
Огромный коридор наполнен тишиной.
В окне стоит зима, и чёрно-белый вечер
Похож на зеркало основой ледяной.

В колодце темноты скользят смешные люди.
Прижавшись лбом к стеклу, не разжимая век,
Тот мальчик видит всё, что было, есть и будет.
Над эллипсом катка порхает редкий снег.

Есть только то, что есть; он встанет на колени,
И двор под окнами, каток, асфальт, подъезд
Окажутся на дне почти прозрачной тени
Пространства-времени, похожего на крест.

Есть только то, чего как будто нет.
Внутри другой зимы я выбегу из школы,
И он подарит мне очки Савонаролы,
Чтоб я смотрел сквозь них на разноцветный свет.

1997

* * *

В трухлявой Аркадии, в царстве прогрызенных пней,
В компании гусениц и сизокрылых громадин
Жуков, в лабиринте сосновых корней,
На шишках, присыпанных хвоей, нагретшейся за день,

Под стрёкот кузнечиков, возле дороги, почти
У остановки, но с той стороны, у забора,
Ведущего к пляжу, мы ждали автобус, который
Приходит из города в пятницу после шести.

И он приходил, и, нагнувшись, я видел в просвете
Над чёрным асфальтом и пыльной дорожкой за ним
Ботинки, сандалии, кеды приехавших этим
Вечерним автобусом, солнечно полупустым.

Потом громыхало, стрижи рисовали грозу,
Но нас не давали в обиду бессмертные боги.
Мы были живыми на этой зеркальной дороге,
Бегущей вдоль сосен над речкой, блестящей внизу.

1997

Голос

Сквозь ватное время, сквозь воздух, мелькая,
Как бабочка в ёлках над тенью от стула,
В зятянутых наледью стёклах трамвая,
В густых спотыканьях невнятного гула...

Внутри треугольников и полукружий,
Сквозь блики на поручнях, в точке покоя
Нам было предсказано что-то такое,
Что всё остальное осталось снаружи.

Осталось спокойно держать на весу
Снопы и царапины света на грани
Пустой пустоты, в чёрно-белом лесу,
Среди отражений цветов на поляне.

Осталось стоять, как живой человек,
В трамвае, гремящем то громче, то тише
Сквозь ватное время, танцующий снег
И голос, которого тут не услышишь.

1997

* * *

Видение философа Хомы:
Простор, как сон, и шелковистая трава...
Потом – прозрачно-обморочный лес,
Сухая шапка мха.

Потом – пустые точки близких звёзд,
Ночная неподвижная листва,
Испуганные жаркие глаза,
Холодная рука.

Потом – в невероятной тишине,
Как призраки, белея в темноте,
Вы медленно идёте по траве,
И те же, и не те.

1987

* * *

Любовь, как Чингачгук, всегда точна
И несложна, как музыка в рекламе;
Как трель будильника в прозрачных дебрях сна,
Она по-птичьему кружится над нами.

Есть много слов, одно из них душа,
Крылатая, что бесконечно кстати...
Шуршит песок; старушки не спеша
Вдоль берега гуляют на закате,

Как школьницы, попарно... Мягкий свет,
Попискивая, тает и лучится;
Морская гладь, как тысячи монет,
Искрится, серебрится, золотится...

Рекламный ролик — это как мечта
О взрослости: табачный сумрак бара,
Луи Армстронг, труба, тромбон, гитара;
Прохладной улицы ночная пустота,

В которой чуть тревожно и легко
Дышать и двигаться, опережая горе,
И главное, всё это далеко,
Как противоположный берег моря;

Как то, чего на самом деле нет,
Но как бы есть — что в некоем смысле даже
Чудеснее... Часы поют рассвет;
Индеец целится и, значит, не промажет.

1986

* * *

В пустоте из полиэтилена
С непривычки можно задохнуться.
По стволам течёт туман, как пена
С помазка на стол по краю блюда.

Лес стоит испуганный и гладкий,
Выцветший и бархатный с изнанки;
На песке ржавеют в беспорядке
Вёдра и расплющенные банки.

Чтобы не оглохнуть от беззвучья,
Как улитка, спрячься за очками;
Белизна цепляется за сучья
И на землю падает клоками;

Задевая розовый репейник,
Пролетает пепельная птица;
Тишина шипит, как муравейник,
И никак не хочет расступиться.

1987

Письмо

То серебристый дождь, то ватный коридор
Ночной гостиницы, то голубь над ковчегом,
То утренний туман, то монастырский двор,
То избы вдоль шоссе, засыпанные снегом;

То роща, где меня окликнул почтальон,
Я подошёл, и он подал с велосипеда
Письмо, и тут же мир раздвинулся, как сон,
В котором быть уже не отделить от бреда.

Всё стихло: море, лес, сорочья трескотня,
Домотдыховская игра аккордеона;
В трёх метрах от земли порхали без меня
Надорванный конверт и призрак почтальона;

Над ними в вышине, светясь, парил покой,
Мелькали, как стрижи, подарки и утраты,
Признательность и страх, что я своей рукой
Вписал и текст письма, и имя адресата.

1987

* * *

Надо постучаться — и отворят.
Снег, шурша, мелькает над полотном.
В вертикальном небе зарыт клад.
Демон знает о нём.

Человек стоит на краю перрона
Навытяжку перед судьбой.
Чтобы отнять золото у дракона,
Нужно вступить с ним в бой.

Снег лежит — как покров бессилья...
Главное — не побежать назад!
У дракона фиолетовые крылья,
Неподвижный мёртвый взгляд.

Главное — крикнуть дракону: «Нет!»
Крикнуть: «Убирайся!» — ночному бреду...
Просыпаясь, мальчик видел свет,
Чтобы взрослый смутно верил в победу.

1988

* * *

И лес, и шкаф, и фотоаппарат,
И чайки, и очки, и плоскодонка,
И солнце уплывало вверх, как взгляд
Играющего на полу ребёнка –

Когда в передней щёлкает замок
И на пороге возникает папа,
Его большая фетровая шляпа
Едва не задевает потолок, –

И вешалка, и ветер, и брелок,
И водоросли, и пальто, и море,
И облако ложилось поперёк,
И волны набегали на песок
И пенились, откатываясь вбок,
Как съёжившийся сумрак в коридоре.

1987

* * *

Слова стоят как стулья на песке.
В просветах между ними видно море,
И тишина висит на волоске
На волосок от гибели, в зазоре
Зари, в пробеле воздуха, в пустом
Приделе на потрескавшемся фото,
На небе, перечёркнутом крестом
Пушистыми следами самолёта
И наведённой радуги; прилив
Шуршит волной, серебряной с изнанки,
И мальчик в туго стянутой ушанке
Сквозь снегопад у дома на Таганке,
Не отрываясь, смотрит в объектив,
Как в форточку в пространство пустоты,
Где прыгают бессолнечные спицы,
Как в зеркало, где — против всех традиций
Магического знания — если ты
Не призрак, — ни пропасть, ни отразиться.

1998

Обещание

Агент, убитый в телефонной будке,
Встаёт с колен в гостинице во Львове.
Луна в окне желтеет в промежутке
Между стеклом и пойманным на слове
Пространством, обещавшим всем, кто в нём
Смотрел с холма на медленную воду
Сквозь зелень сада – там теперь у входа
Дежурит ангел с пламенным мечом
Вращающимся; пламя, ударяясь
О пустоту (сосну давно сожгли),
Рассыпавшись на искры, рикошетом
Уходит на террасу, притворяясь
Лучом, застрявшим в зеркале, букетом
Иван-да-марьи в солнечной пыли...

1998

Под рыжим абажуром

Мир просто был. В троллейбусной оправе,
Как в комнате, казавшейся огромной,
Струился свет ни ясный и ни тёмный.
По проводам и вытянутым склонам,
Сжимаясь в запотевшей полуяви,
Пульсировал продолговатый воздух,
Как ватный гул, плывущий по салонам
Вдоль стёкол в ледяных цветах и звёздах
Над прячущимися в махровых гнёздах.
Неправда в обобщениях. Язык,
Как волк, не поддаётся дрессировке.
Я вижу папу в бежевом пальто.
Все умерли. За площадью на хмуром
Торце высотки – тени птиц. Никто
Не умер. «К водным процедурам»
Нас приглашает радио; зато
И день с утра похож на решето
Сквозь белый снег под рыжим абажуром.

1998

* * *

Лес порхает, кружится — на синь и сень
Рассечён вдоль просек по вертикали
Световыми ширмами; косуля в тень
Отступает солнечными прыжками.
Это как прозрачная дверь — пока
Музыка звучит и даль притёрта
К зелени и ряби березняка,
Это место встречи живых и мёртвых.
«Мы вас вправду любим», — земле, золе
Шепчут изменившие, боясь проснуться
(Лампа отражается в ночном стекле),
Встретиться и всё-таки разминуться.

1998

* * *

Нырря, ломаясь, гудя
В луче под фонарную плоской,
Булавки-иголки дождя
Блестят, как железные ножи
Стола на попа подшофе
Среди перевёрнутых лавок
В закрытом открытом кафе
Под градом иголок-булавок.

1999

Часы и зеркало

...уже не шум.
И. Бродский

...Я назвал их отражениями...
...Поэты пишут не для зеркал...
И. Анненский. Книги отражений

Настоящим можно не пытаться –
Отражённых стрелок не догнать.
На стене одиннадцать пятнадцать,
В зеркале двенадцать сорок пять.

Полдень равен полночи – закон
Тождества, любезный Мандельштаму,
Дважды в сутки помещённый в раму,
В промежутках просто отменён.

Стрелки то спешат, то отстают.
Время тоже зеркало и книга.
В области оптического сдвига
Мы ещё не там, уже не тут.

1999

* * *

Остался лес, остался дом, остался сад,
Осталось шествие по выцветшему склону...
Улитка держит путь на звездопад
В луче от фар, скользящем по газону.

Осталась женщина в кафе, в слезах дождя,
В ресницах ёлок, в зеркале, у моря...
Попасть из лука в шляпку от гвоздя
Равнялось избавлению от горя.

Дракон, разинув огненную пасть,
Носился в небесах как угорелый;
И было слишком просто не попасть,
Но гвоздь как будто сам магнитил стрелы.

Надев пальто, старик выходит в сад,
Припоминая смех, походку, шею...
Он сам мишень и лучник и закат,
Горящий, как солома от Матфея.

1992

Про дождь

– Опять идёт! Четвёртый день подряд!
Какая дрянь! Почти без перерыва,
Несправедливо!.. – так несправедливо
Ругают дождь, никто ему не рад.

А между тем он абсолютно прав,
Когда, неотменяемый и жуткий,
Кипит на стёклах телефонной будки...
– Сегодня – будка, завтра – батискаф.

1999

* * *

Наткнуться в сумерках на солнечную нить,
Похожую на луч, пробившийся сквозь время,
Где радужная взвесь в полупрозрачной теми
Порхает, тихая, не в силах не светить.

Увидеть, как во сне, что явь и значит свет.
Беззвучный, сказочный, внезапный и нечастый;
Экклезиаст сказал: «Всё суета сует»,
Нам нечего сказать Экклезиасту.

И не о чем просить, пока не давит даль,
И ужасы не встали на дороге,
И колесо плашмя не рухнуло под ноги,
И не разбит кувшин, и не зацвёл миндаль;

И темь не обернулась темнотой,
И на конце луча, как бы в волшебной точке,
Сверкает серебро серебряной цепочки
И золото повязки золотой;

Пока кузнечик не отяжелел,
И стерегущий не окаменел,
И у коня не лопнула подпруга,
И глубина воздушна и упруга,
И высота мерцает, как свеча...
Пока ты сам на острие луча,
Как сеть дождя внутри лесного круга.

1989

Встреча

Это просто слова, немота перевёрнутых слов,
Неподвижное зеркало озера в мятом овраге
Негустой темноты, в окруженье чернильных стволов,
Тут – расплывшихся в кляксы, там – вырезанных из бумаги.

За кинотеатром «Зарядье», на пасмурно-белом холме,
С наступлением сумерек в комнатах с видом на горе,
Мы тонули, темнея, в просторной, как небо, зиме
Между светом и снегом на брейгелевском косогоре.

От предчувствия встречи слова начинают летать,
Как жонглёрские мячики, мир превращается в птицу
Между снегом и светом, где, чтобы родиться опять,
Недостаточно права, достаточно просто родиться.

1999

* * *

В траве стоят спокойные цветы.
Заплаканная память смотрит в щёлку
И различает комнату и ёлку,
Соткавшуюся в ней из пустоты.

И снова видит – зреньё сносит вбок –
Цветные точки паутинных вспышек,
И свет, как снег, ложится на песок
Под соснами среди корней и шишек.

Шоссе блестит на солнце, как вода,
От радости – сей брат был мёртв и ожил,
И муравьи снуют туда-сюда,
Работая не покладая ножек.

От ёлки на излёте декабря
До ёлки на краю шоссе в июне
Сквозь воздух дней протянута заря
Невыдуманной жизни накануне.

И даже вещи – вестники зари...
Заплаканная память смотрит в щёлку,
Где дождь, как свет, качается внутри
И свет, как дождь, стрекочет без умолку.

1993

* * *

Что-то было обещано:
Прилетев из-за туч,
Луч, родившийся женщиной,
Превратившейся в луч,

Трепетал и приплясывал,
Расширялся и гас;
Ветер мял и подбрасывал
То ли тюль, то ли газ.

Время было не связано —
Расплеталось назад;
Что-то было предсказано:
То ли снег, то ли град;

Что-то было отмерено:
Сколько лет, сколько мук;
Что-то было потеряно:
То ли свет, то ли звук.

1999

* * *

Как тень воспоминания
И слёзы по щеке,
Весёлая компания
Спускается к реке.

Вибрируя от стрёкота,
Пропахшего травой,
Столбы цветного хохота
Висят над головой.

Где ёлка раскололась,
Там на глазах у всех
Летает папин голос,
Нырять дядин смех.

Как утром в батискафе –
И некому помочь –
Сквозь глянец фотографии
Проглядывает ночь.

Но только тёмный воздух
Стоит со всех сторон,
И девочка под звёзды
Выходит на балкон.

1999

* * *

Мне хочется срифмовать
«Искусство» и «чувство»,
Вообще-то
Это диагноз, это —
Как бахнуть из пистолета
В Музу
И ахнуть
Где-то
По ту сторону добра и зла,
Вернее — по эту.
Поэту
(За такие дела
И отношенье к предмету,
Как он бы сказал, любви)
Не заслужить пиетета
Со стороны букета
В стеклянном кубике света
С бабочкой визави.

2000

* * *

Мама под снегом ведёт ненормальную дочь.
Это нормально; земля обрастает сугробами;
Дом вверх ногами висит в опрокинутом небе –
Кто-то расчистил каток; сны, мешаясь со злобами, –
Любит не любит? – положены всякому дневи;
Случай гадает, не зная: помочь не помочь?

Голос бормочет: «Заря новой жизни», «Побег
В царство свободы», «Мужайтесь», «Да будут отложены
Все попеченья житейские», «Верьте», «Терпите...»
Время стоит у окна и в слезах, замороженно
(Каждый нежданно-негаданно в центре событий
Собственной жизни как минимум) смотрит на снег.

2000

* * *

Плаха? Нет, он хотел сказать *праха*,
В смысле прах в родительном — у него
Дефект дикции. Что?.. Неважно,
Важно то, что сначала железно, потом бумажно,
А потом — вот именно — ничего,
Кроме страха.

2001

Стрекоза

Остаётся цепляться за свет, потому что иначе
Стрекоза (не бывает прекрасней) не вылетит из
Глубины придорожной кулисы и сосны на даче
Тишину и себя за окном не исполнят на бис.

И прохожий в тулупе не сможет шагать по лыжне
Постановщиком времени, рыцарем в солнечных латах
Вдоль стрекочущей ЛЭП, мимо пустошей шестидесятых,
А возьмёт и исчезнет и больше не будет уже.

И, конечно, родня, та, что есть, но особенно та,
Что давно не гадает о сме- и бессмертье под утро,
Не останется прежней, как августовская пустота,
Там и сям просквожённая крылышком из перламутра.

2000

* * *

Сияла ночь...
Фет

Сияла ночь; бред вспыхивал, как воздух,
В твоих зрачках и был непобедим.
Стеклянный куб террасы, небо в звёздах,
Трава и дым.

В отчаянье сплошных несовпадений,
Сквозь сон и свет
Беспомощно среди ночных растений
Рыдать, как Фет.

Стать маленьким, похожим на японца,
Непрочным, как стекло;
Открыть глаза, чтобы увидеть солнце,
А солнце не взошло.

2001

Китайский романс

Иероглиф зимы; синеглазая фата-моргана
Января за стеклом в серебре ледяного письма;
Люди сходят с ума и глядят из окна ресторана
На ночные дома.

Души сходят с ума и парят над притихшим столом,
Как бойцы Шаолиня над рисово-снежным татами,
Произвольно смешав лёд и мрак на сквозной гексаграмме
С кареглазым теплом.

Знание меньше незнания; «я» — просто большая акула;
Время, спрыгнув со стула, сражается с вечностью; «ты» —
Просто ночь за стеклом, красный плеск ресторанного гула,
Белый шум пустоты.

2001

* * *

Как — вид сверху — автобус в снегах, как бесхозный дефис,
Безнадёжно сшивающий два ненаписанных слова,
Как — зеркально — и сам самолётник, составленный из
Ватной нитки в полнеба, иголки и смутного зова
Над горами-долами, гостиницей, млечным каре
Седоватых берёз — на стволах световые разводы —
Сколько ночи? — Дефис на глазах вырастает в тире —
Приближается утро — залогом внезапного хода,
Выражая, как пишет Д. Э. Розенталь, неожиданность. Даль,
Не «толковый» Владимир Иванов, а просто — в игрушки
Превращает огромные вещи, включая печаль,
Ту, что больше... но меньше ресницы на белой подушке.

2001

* * *

Двадцать лет уже — ни много ни мало —
Пахнет сыростью на том повороте,
Где слова твои растут как попало,
Мрея дымчато, как лес на болоте.

Право слово, так сказать, слово право,
Поднимаясь к облакам из карьера,
По утрам, как муравей, тёмно-ржаво,
Как комар, по вечерам бледно-серо.

Тот, кто думает, что всё уже было,
Держит удочку не той стороною.
Баба вымыла дрова, нарубила
Всю посуду и проснулась больною.

Ворох дел моих, как белая сажа,
Пух и прах, седой дымок от карбида,
Промелькнёт как бы фрагментом пейзажа,
Отражённым в стёклах заднего вида.

Суть не в *минусе* и даже не в *плюсе*,
И не в том, что *всё могло быть иначе*.
«Раби Зуся, был ли ты раби Зусей?» —
Спросит Бог, и раби Зуся заплачет.

2001

Angelica sylvestris

Я падаю, как падают во сне –
Стеклянный гул, железная дорога, –
В тёмно-зелёном воздухе к луне,
У входа в лес разбившейся на много

Седых, как лунь, молочных лун, седым,
Нанизанным на столбики тумана
Июльским днём – как будто слишком рано
Зажгли фонарь и свет похож на дым

И луноликих ангелов, когда
Они плывут вдоль рельс в режиме чуда, –
Откуда ты важнее, чем куда,
Пока куда важнее, чем откуда, –

Белея на границе темноты;
Вагоны делят пустоту на слог:
Ты-то-во-что ты был влюблён в дороге,
Ты-там-где-те кого не предал ты.

1999

* * *

Изменить жизнь!.. Не вообще – это
Дьявол, – только свою.
Если путь – свет, на краю света
Он подобен копыю.

Нужно просто войти (приз – вскипевшие слёзы)
В эту солнечную полосу.
Правда – если слова шелестят, как стрекозы
Над дорожкой в лесу.

Если свет – тьма, в перевёрнутой дали,
У других берегов
Всё не так – но и там крутят сальто-мортале
Тени наших шагов.

Два фрагмента: *«Широк человек, я бы сузил»*
И – игра стоит свеч.
Если правда – разрыв, а сомнение – узел,
Значит, луч – это меч.

2001

Знамя

Встреча за закрытыми глазами
С чем-то, что из рук
Вон, шурша и хлопая, как знамя,
Падает на луг.

То ли память, то ли вечер, то ли
Невечерний свет
Меркнет перед тем, что поневоле
Значит этот бред.

Знаменосец знаменует страсть,
Даже мёртвый, сшибленный, как кегля;
Знамя мнётся и струится, медля
Сдуться и упасть.

Не вздыхать бы, рея, в тишине
Знамени над лицами слепыми,
Если бы не собственное имя
На его усталом полотне.

2001

Начало века

Площадь перед дворцом (в городе Китеже) –
Пусть пионеров – всё-таки тьма мигала
Снегом, когда из трамвая (номер забыл уже)
Мы вылезали у сводчатого портала.

Мы вылезали и попадали в шахматный
Вечер зимы, просто идущий мимо,
Вместо и после субтропиков Вишакхапатнама
В сказке про гроб на колёсиках в сердце Нарыма.

В сердце Нарыма, в чёрном квадрате, в белом
Царстве зимы, страшно сказать, в безгрешной
Смертной любви всё перепачкано мелом,
Каждая дверь – и король растерялся, конечно.

И король растерялся, и всё растерялось: дом,
Citizen Rosebud – детские санки;
В раковине зимы глухо, как в танке;
В чёрном квадрате (Малевич тут ни при чём)

Белый квадрат – фрейлина, где принцесса? –
Ночь, перламутр и вата мечутся врозь.
В озере Светлояр световая завеса.
Старое кончилось, новое не началось.

2001

* * *

В траве, в костре июня, у торца
Шестнадцатизэтажного дворца,
Споткнувшись о натянутое время,
В зелёном круглом мире, где пришлось-
Приходится-придётся, глядя сквозь
Танцующую солнечную темень
Туда, где только музыка, без слов,
И мелкий дождь, как стрелки без часов,
Среди стволов стрекочет наудачу
(В душе у грибника то вскрик, то всхлип:
Нет, гриб – нет, лист – нет, гриб – нет, лист – нет, гриб),
За полчаса до выезда на дачу –
Всё собрано, но ты ещё в Москве –
Над мальчиком – что тот грибник – к траве
Склонившимся над смятой пачкой «Dunhill»
И собственным беспамятством, в аду,
В Москве и в опечатанном саду
Стоит стихотворение, как ангел.

2001

Что значит луч

Озарение Саид-Бабы

1

Вдруг начались серьёзные дела.
Как бы погасли солнечные пятна.
Жизнь, что была, взяла и уплыла,
Как облако, немного безвозвратно.

На яблоне сидит павлиний глаз,
Лимонницы калитку украшают,
Мерцая, адмирал пустился в пляс...
Но бабочки уже не утешают.

Горит отдельно эта красота,
Отдельно птицы тенькают и вьются.
Старик в пенсне кричит: «Я сирота»,
Смешно кричит, и в зале все смеются.

Однажды, сорок лет тому назад,
Я тоже был один на целом свете:
Проснулся — дом молчит, и дачный сад
Молчит, пустой, и в нём сверкает ветер;

Мир обезлюдел; никакой мудрец,
Я точно знал, не сможет снять проклятье,
Пока между деревьев наконец
Не замелькало бабушкино платье.

Приходит страх, и смысл лишают прав.
Недаром в мире пауза повисла

Как грустная неправда тех, кто прав,
И стрекоза большое коромысло.

В огромном чёрном городе зимой
Метёт метель на площади Манежной,
И женщина, укрывшись с головой,
Лежит без сна в постели белоснежной.

Был смысл как смысл, вдруг – бац! – и вышел весь,
А в воздухе, как дым от сигареты,
Соткался знак, что дверь – не там, а здесь
В пещеру, где начертаны ответы

На все вопросы: о природе зла,
Путях добра и сокровенной цели
Всего вообще... Серьёзные дела!
Я ж говорил! А вы: «Мели, Емеля».

2003

2

Стеклянная дверь, ночь и лес звёзд,
И просто лес, и море холмов, и просто
Море, и – меньше секунды (прост
Станный совет) нужно – не девяносто

(В том-то и дело!) лет, чтобы понять: судьба –
В буквах как звёздах-снах в небе пустыни.
«Птица, кот и собака, – крикнул Саид-Баба, –
Вы свободны отныне!

Трусость, спесь и предвзятость мешали мне видеть свет, –
Спохватился Саид, от восторга шатаясь как пьяный, –
Вот и дверь, – ахнул он, – если так, может быть – разве нет? –
Просто дверью – стеклянной».

2003

Whistle

Эл сгорела на солнце и онемела.
Тэ упала с лестницы и – хана.
Буква в данном случае – призрак тела
Музыки без музыки, панцирь сна,
Как песком, набитый какой-то кашей
Из любви, несчастий и похорон.
Мы кричим и машем, кричим и машем
И бежим навстречу... но это сон.
Сон, как лес, где медленно и лучисто
Ходит свет над сбившимися с пути,
А неявный смысл и значенье свиста
Стерегут оглохшие *Эйч* и *Ту*.

2002

* * *

Если слишком долго заглядывать в бездну,
Можно увидеть — фигу
Или фикус в раковине подъезда,

Там, где чёрная плитка или белая плитка.

За огромным окном шитый белыми нитка-
Ми (фа-соль) — снег, и дрозд, привыкающий к снежному сдвигу,
Как горелая спичка, сидит на щербатой дощечке.

Негр внутри телевизора, сбитый зеркальной подсечкой,
Отражается в крышке рояля и — в брошке консьержки,
читающей книгу.

2002

* * *

— Благодать — не морошка, её не бывает немножко,
Отлетела — и нет.
А когда отлетит, нас бросает и кружит, как ворох
Жухлых листьев... Монах отражался в глазах, как в озёрах —
Перевернутый свет.

Не шагнёшь — не поймёшь, что к чему под чернильной водою:
Торф ли там или ил.
Что ж стоишь, словно ты — новоявленный дедушка Ноя,
Юный Мафусаил,

И не несколько жалких «ку-ку» и сомнительных охов,
А века и века
Будешь зорко бродить по лесам, как писатель Набоков,
Разве что без сачка...

Мимо бабочек-шахмат, сквозь отсветы, вспышки и блики,
Уходя на войну,
Заскользить, замечтавшись — о чём? — по-над морем черники,
И очнуться в плену.

Ведь неважно, кто ты на доске: ферзь, король или пешка —
Продырявлен твой щит.
Чёрный поп в клобуке, соловецкий монах-головешка
Знал, о чём говорит.

2002

Раньше лучше было...

Какие были времена!
Теперь не то – бен Ладен, Путин...
А раньше – сосны, тишина,
«Во всём... дойти до самой сути».

С утра по выходным мячи
И люди прыгают на пляже,
И запах тины и мочи
В кабинках и не только даже.

В лесу, оправленном в закат
(Где комары звенят, зверея),
Прекрасные московские евреи
О Мандельштаме говорят.

2004

* * *

Белила, простыни... Словом, вокруг зима.
Снулое солнце тускло, как бы сквозь воду,
В растерянном воздухе, тая, следит с холма
За маленьким пешеходом.

Всё белое-белое... Круглый, как анальгин,
Пруд совет в снегу; в полвысоты кружится-
Плавает над дорогой ворон: один в один
Длинная брейгелевская птица.

Всё белое-белое... Лишь человек одет
В траур, да брат его в небе тёмен –
Спелись, вернее, *скаркались*, что этот белый свет
Только снаружи бел, а внутри – вероломен.

2004

* * *

Что говорить о прочих, если даже
Мужик не перекрестится, пока
Не грянет гром и не пробьёт в пейзаже
Пробоину размером с мужика.

Но иногда (возможно, это сны),
Речь, в сущности, о музыке – возможно,
Какой-то неземной и невозможной, –
Случаются включенья тишины.

Последняя петарда, свистнув, косо
Взмывает в небо – бах! – немая взвесь...
И только выпь о четырёх колёсах
Кричит во весь...

И что-то есть, по крайней мере то,
Чем дышит летний двор в объятых ночи:
Негадкий смысл, неплоский мир, короче,
Надежда – сами знаете на что...

2004

«Субботний день» Андре Дерена

Если картина – зеркало, это шанс...
Стол на боку в обратной перспективе...
То, что казалось скукой *par excellence*,
День ото дня кажется всё счастливей.

То, что казалось мраком, бредом вещей,
Гимном унынию, нелепой хвалой укоризне,
Стало казаться венцом благородства – вообще,
Чудом подлинной жизни.

Видимо, дело в серьёзности... Время идёт
Или висит вполводы, как у Робина Крузо,
Между домиком шкапа и небом, свободное от
Несуразных иллюзий.

«Натюрморт съел людей», но Живой, поглядев с высоты,
Просто так, не за что-то
Возвратил их назад и во мраке зажёл, как цветы,
Не нарушив субботы.

2004

День прозы

Мама смотрит в шкаф — там ночует свет.
Под землёй шумит поезд.
Время держит речь, но не слышно слов,
И тогда — сейчас — что-то происходит.

И вообще, слова — жухлая трава,
Мутная река — тонешь.
Помнишь солнце, дверь, подоконник, снег,
Мама смотрит в шкаф — слов не помнишь.

А теперь того, не пойми чего:
Рюмки, что твои слёзы,
Тенькают, лучась, — добрый КГБ
Отмечает День прозы.

Говорят слова — горе не беда,
Буквы говорят, звуки...
Мама смотрит в шкаф — свет, который там,
Освещает ей руки.

2004

* * *

Как в кровати между папой и мамой
Пьёшь бессмертие... А может быть, все мы
Просто знали про незнание Адама,
Потому что были ближе к Эдему?

С каждым годом жизнь вокруг безадамней,
Безэдемней — что же тут удивляться?!
Даром, что ли, *там* мы все вверх ногами,
Как в утробе, чтоб удобней рождаться?

Дальше *от*, но *к* значительно ближе.
Tout le reste, конечно, — литература.
Может, я ещё возьму и увижу
Маму, папу, бабушку, бабу Нью?..

2004

* * *

В тесноте скрестившихся плоскостей
Луч, как чижик, скачет туда-сюда,
Чистый Чехов – вечером из гостей,
Утром в гости: пьеса про «нет» и «да»,
Вдох и выдох... Мир, чей мир не спасти,
Ищет мира, лезет лучом в глаза,
Окликает, верит в тебя почти
Бесконечно – если тебе не *за*.

2005

* * *

Что такое стихи?
Гармонь в землянке?
Безутешный роман в Париже?
Или бабочка на полянке?
Бабочка — ближе.

2005

* * *

Больше чем, меньше чем, больше
Снега, ветра, вечера, жизни
За окном — взгляд на окно снизу
Сквозь летящий снег, через толщу
Жизни — что здесь такого:
Снег на мокрой варежке, ветер...
К новой жизни будьте готовы! —
В распахнувшемся — ах! — свете.

2006

* * *

...нет...
Пушкин

За окном зима, а пахнет летом,
Просто потому что потеплело,
А не то чтоб что-нибудь — не в этом
Дело.

Ветер, ветер что твоё сирокко,
Только не такой сухой и страшный.
То, что ты как *ты* немеешь сбоку,
Может быть неважно.

В темноте поблёскивают дужки,
Тонкие как весть,
Будто то, чего (короче, Пушкин)...
Есть.

2006

* * *

*Как кто убил?.. Из книжки лился свет
Взамен того, убавленного на ночь
За шторами... И смех, и грех, и бред...
Вы и убили-с, Родион Романыч...*

Переморгнёшь – и на древесном срезе
Дрожат лучи,
Как в «Зеркале», где Бах и Перголези,
Блестят ключи

В руке того, который (верь не верь) –
Кому? когда? за что? – никто не знает –
Поставлен отпирать – и отпирает (!?)
Тугую дверь.

2005

* * *

Пустота как присутствие, дырка как мир наяву,
«Нет» как ясное «есть» вместо «был» или «не был»
Превращают дорогу в дорогу, траву в траву,
Небо в небо.

Заполошная мошка, влетевшая с ветром в глаз,
На дороге у поля, заросшего васильками
(«Наклонись, отведи веко и поморгай семь раз»),
Что-то знает о маме.

В перепутанном времени брешь как просвет
Между здесь и сейчас — бой с тенью
Между полем и небом, где всё, кроме «нет»,
Не имеет значенья.

август 2005

На появление в доме ужноамериканского попугая

Посвящается людям-попугаям

Гайана – это просто гул,
Тут главное – другое дело:
Что он поел, попил, зевнул,
И комната зазеленела;

Что шею вытянул, повис
Вниз головой, слетел, поднялся,
Моргнул, верёвочку погрыз,
Нахохлился и почесался.

Короче, так: где были мы
И наш всепобедивший холдинг,
Когда из изумрудной тьмы
Он *крылья направлял на полдень?*

Сейчас, конечно, всё не то,
Но было бы ещё нетее,
Когда б не Горовиц, Кокто...
И, кстати, тут в одном музее

(Сначала я подумал – сон)
По комнате кружил заморский
Половозрелый амазон:
Большой и мудрый Пятигорский.

Ты не один, мой добрый смех
В зелёных бриджах, жёлтой шапке,
На свете, круглом, как орех
В прекрасной лапке.

2006

Пинг-понг

Женщина выходит из подъезда
Прямо в сон (в каком-то смысле вещей)
Мальчика, от страха – больше-меньше –
Верящего в солнечные вещи.

Ведь, по слухам, свет не в беспорядке
Падает, а как бы в форме храма
Или леса (это по догадке
Мальчика) – и тот, и этот самый.

Отчего же остаётся только
Страх и всё, а солнечные вещи
Прячутся, как счёт у – сколько, сколько? –
Запылавшихся на «больше-меньше»?

2005

Гражданская лирика

Après nous le déluge...
маркиза де Помпадур

Зачем нам, товарищ начальник,
Вся эта унылая чушь?
Ведь даже у бабы-на-чайник
В глазах: после нас хоть déluge.

А было, недолго, но было:
Каких-нибудь пару недель
И вправду чего-то сквозило
Сквозь ту диковатую Ель.

Едва, но маячило всё же,
Пока не сработалось в нуль
И не загудело похоже
На этот маркизин буль-буль.

2005

* * *

Памяти пятидесятих

Сквозь белый день цветные пятна, где —
Казалось, люди, оказалось, время —
Со всеми вместе в снежной чехарде,
Тогда — почти, сейчас — совсем со всеми...

Сквозь чёрное июльское окно
Лос-Анджелес светился, как в кино;
Гостиница переливалась ало,
Дымилась сигарета, и вино
Мерцало.

Любовь, надежда, нежность, страсть и страх,
Как Бим и Бом, сражались с темнотою,
Той, где отель, и той, где снежный прах,
Но комната уже была пустою.

Немного мелодраматично, но
Тут ничего поправить не дано,
Молитвенными не прожечь словами
Разворошённый этот неуют,
И только слёзы что-то могут тут
И там, как в настоящей мелодраме.

2006

* * *

Конечно, плохо, даже очень, но
В лесу, где листья падают на дно;
В троллейбусе, где, как птенцы на ветке,
Сидят уютный старичок в беретке
И девочка в уродливом пальто,
Которая – ты точно знаешь, что –
Лет через двадцать-тридцать – вспоминая
Вот это время (в перспективе «то»),
Кому-то, хмыкнув, скажет: «Смех! Тогда я
Носила это жуткое пальто,
И ничего – носила и носила...»
И некто спросит: «Сколько тебе было?»
И женщина, прикинув, скажет: «Шесть...»
Бессмыслица, но в этом что-то есть.

2006

* * *

Там, где стоят слова, там непонятно как —
Не верят, потому что слишком верят, —
Фотограф с палочкой, прекрасный, как монах
На фоне гор, сидит на фоне сквера.

Фотограф с палочкой и мальчик Мир Ресниц,
И что-то вроде райского осколка
В луче, стрельнувшем между половиц
В счастливую еловую иголку.

И этот луч как будто значил, что
Нам всем — всем: маме, папе, бабе Ане —
Отпущено лет минимум по сто,
А оказалось, это не про то.

Лучи, иголки, дачное лото
Сошлись в пролёте, недоступном глазу,
На глубине, где даже Ив Кусто,
Пока был жив, не побывал ни разу.

2006

* * *

В такой – какой? – то влажной, то сухой
Траве-листве на бледно-сером фоне
Небес, колонн, ступеней, на газоне
Стоит безносый пионер-герой.

Акива Моисеич Розенблат,
Начитанный декан второго меда,
Вообще решил, что это Андромеда,
И Анненского вспомнил невпопад.
Мол, как сказал поэт в порядке бреда,
Вон там по мне тоскует Андромеда.

– Гуд бай, Ильич, большой тебе привет, –
Профессор раскудахтался глумливо, –
Не умерла традиция... Акива,
Ты настоящий врач! Живи сто лет.

2007

Весна в Михайловском

Д.

Мы внесли вещи,
сняли плащи,
а в лесу клéщи,
в смысле клещí.

Им, клещам, в пору
эта пора –
вроде как Тóра
вместо Торá.

Дятел в прозрачных
соснах летал,
празднично-мрачный,
как Ганнибал,

сел на верхушку,
стукнул и стих –
Пушкин-Кукушкин
пишет свой стих.

2007

* * *

Бабкену Арутюняну

– *Каждый день – подарок,* – сказал Бабкен
Не свои слова, но в устах Бабкена
Их смиренный смысл задышал, как пена
В полосе прибоя, и не погас.

2007

Карельская элегия

Тридцать лет не был. Приехал – дождь.
Всё ржаво, серо.
На причале в рифму кричат: «Подождь,
Кинь спички, Серый!»

А приятель (выпил? характер дрянь?),
На ходу вправляя в штаны рубаху,
Тоже на всю пристань пуляет: «Сань,
Пошёл ты!..»

Все похоже: проза (слова), стихи
(Валуны и вереск, мошка и шхеры,
Комары и сосны, цветные мхи,
Серый).

Просто тот, кто раньше глазел на бой
Солнца с Оле-Лукойе,
Не был только и ровно собой,
Как вот этот, какой я.

2007

Дом отдыха семидесятых

Статуи, беседки, тишина.
Всё, включая тишину, немножко
Развалилось... В парке дотемна
Взрослые гуляют по дорожкам.

Фонари желтеют сквозь листву.
Ленин, Сталин, Господи помилуй!
Жизнь, как в школе, жмётся к большинству,
В большинстве, как водится, немилому.

Брежнев, Каплер, комнатный балет
Смыслов и непрожитого воздуха...
Вот и получается, что нет
Ничего прекрасней дома отдыха.

2007

* * *

Преподаёшь английский — свет на ключ
Закрыт, но вдруг взрывается, как будто
Аплодисмен- (качается каюта)
-Тами; мартышка прыгает, как луч.

Цирк на гастролях; дрессировщик с чаш-
(Качает) -кой эспрессо и галетой
Сидит в рубашке с воротом апаш
На палубе под куполом из света.

Прозрачная качается каюта,
Лучи и тени ходят по стене...
Чем неслучайней наши объясне-
(Держись!) -ния, тем гаже почему-то.

2007

Эта пьеса

По телевизору показывали,
Как человек в котелке,
Вор,
Влезает в дом,
Как он думал,
Пустой,
А там — хозяйка.

И она —
Вероятно, это было хорошо сыграно, —
Влюбляется в вора,

То есть
Вскоре после их нечаянного знакомства —
Начинает смотреть на него
Особенным образом:
Без водевильной плотоядности,
Но так, что даже я, восьмилетний,
Догадался,
Что эта женщина в сарафане,
С голыми плечами,
Нежной шеей
И немножко глупыми кудряшками
Хочет, чтобы этот мужчина с усами
Поцеловал её,
Помог ей выбраться из сарафана и...
Тут моё воображение буксовало,
Но я отчётливо помню,
Что «особенные» взоры актрисы
Сулили «неизъяснимы наслажденья»,

Причём
Не столько вору,
Сколько — вот именно — мне.

Не исключено, что,
Согласно авторскому замыслу,
Вор должен был
Сначала попасть в дом,
Потом — в женщину,
Потом — через женщину —
Провалиться в самого себя
И затем самоликвидироваться
Как вор,
А скорее всего, вообще,
Потому что никем другим
Он быть не мог,
А проваливаться дальше —
Во всяком случае, внутри этой пьесы —
Было некуда.

2008-2009

Первая правда

Из заросшей музыкой, как мхом,
Первой правды (небо, окна, стены)
Не видны ни куст, ни стол, ни дом —
Только освещённый угол сцены.

Это не премьера, не прогон —
Просто репетиция, когда и
Цвет не различает цвета, звон
Сам, где он, звонит, не понимая;

Ритм не держит ритм — и только страх,
Не смущаясь немотою зала,
В белых электрических лучах
Впечатляет с самого начала.

2008

Одесса-63

О. Д.

На солнечном пляже...

А. Вертинский

Как добрые ложки (а ну эти злобные вилки!)
И чуткие стражи,
Пузатые бабушки чинно сидят на подстилке
На солнечном пляже.

Сверкает вода, изумрудная и золотая,
И парус, как лучик,
Пузатые бабушки смотрят, от нежности тая,
На внуков и внучек...

Недавно приятель сказал мне в одном разговоре,
Нескладном немножко,
Что время из всех, так сказать, категорий
Уж точно не ложка

И даже не вилка; пространство добрей и круглее –
Сядишься в двуколку
(Ну, в поезд) – раз-два и вернулся! Вот пляж, вот аллеи...
А толку?

2008

* * *

Жизнь конечна или бесконечна?
Мы привыкли, что рассвет — заря
И закат — заря, неправда вечна,
Что неправда, честно говоря.

2009

* * *

– *It's a nice, warm evening*, – сказал Бернард
Хартли Питеру Вайни.
Автобус уехал; мы остались у входа в парк
В отсветах тайны.

Описания бессмысленны – даже стручков
Акации, даже ступеней
В бликах, даже сучков
И задоринок, света и тени.

Это поразительные места:
Море, сосны...
That was the last bus home... Деталь пуста –
Вывернись наизнанку, пока не поздно.

2009

* * *

Noblesse oblige. Старик совсем облез.
Чуть что — прыг-скок — и убегает в лес
Сидеть на пне, гудеть-бубнить ab ovo:
Разве мальчик в Останкине летом... И прочее...
То забывая слово,
То вспоминая...

А то летит на велике без рук,
Шурша, за кругом нарезает круг,
То забыва... то вспоминая слово,
То бабочку раздавит, то грибы...
Эх, Брэдбери бы на него и Чжоу
Чжуана бы.

Вот возвратился б он на свой чердак,
А там не так, вернее, слишком так,
Как есть, — и всё бы вдруг распалось,
Скажу ль, с очей упала б пелена,
И *забыва* б уже не отличалось
От *вспомина*.

2008

Стакан хохочет,
сигарета рыдает

* * *

Снег выпал и затих.
«Нет, весь я не умру»,
Немножко грустный стих
Кружится по двору...
Вот Лёва Бромберг, вот
Мы с ним хохочем, лёд
Блестит, и жизнь идёт...
Идёт, идёт и – ах,
И – оops, и в ямку – бух
Под фонарём в слезах
Над вымыслом из букв.

2009

* * *

Автобус уехал, мы остались у входа в лес.
Было тихо, пахло цветами.
По шоссе процокал всадник – неужто без?
Так и есть! – улыбаясь плечами,

И пропал... И опять закружилось: чык-чык, фьють-фьють,
Зазвенело, ожило.
Мимо поля и луга идти было сорок минут,
Через лес – двадцать, тридцать от силы.

Мы пошли по шоссе мимо луга с далёкой козой.
Описанья бессмысленны – это понятно,
Как, допустим, Шаламов в Монрё, а Набоков в СИЗО.
Завтра едем обратно.

2009

Марк Шагал. «Окно на даче»

В прохладном центре белого пятна
Отчаянье, надежда, тишина –
Такая «неслучайная» развеска.

Спасибо... А теперь смотри: она
И ты, и вы сидите у окна –
Темнеет лес, белеет занавеска.

2009

* * *

Мои еврейские друзья
Живут в Америке не зря.
По бостонско-нью-йоркским дачам
Прилежно празднуя шабат,
Они обратно не хотят
Туда, где мы под снегом скачем
И с каждым днём всё меньше значим.
Кто это говорил? Житков?
России крышка без жидков.

2010

* * *

Зимний вечер.

Знаменитый диктор советского телевидения
выходит из аэропорта «Внуково»
и, как бы не замечая очереди,
ловко оттеснив каких-то мёрзнущих под снегом тёток, —
юрк! — садится в подъехавшее такси.

Много лет

этот мамин рассказ о прославленном дикторе
служил мне очередной иллюстрацией
общеизвестного факта
аморальности выдвиженцев советского режима.

Стоило этому диктору с его почти левитановским баритоном
появиться на экране,
я сразу же вспоминал эту историю.

Не знаю почему —

может быть, потому что с тех пор
я видел уйму неблагоприятных поступков,
совершённых самыми разными людьми,
в том числе мною самим
и даже — как ни прискорбно —
несгибаемыми борцами с лживой советской идеологией,
этот диктор,
несмотря на его бесспорно гадкое поведение,
сам по себе
не кажется мне
таким уж гадким.

Задумай кто-нибудь
(что вряд ли)
снять о нём «художественный фильм»,
главную роль мог бы –
увы, уже не мог бы –
сыграть артист Вячеслав Тихонов.

Изнанкой век
я вижу, как в тот вечер
он возвращается к себе домой,
в свою большую квартиру
с её просторной праздничностью
(это словосочетание требует пояснений,
но я – зря? не зря? – понадеюсь на читательскую интуицию)
и праздничным убожеством,
толстой необаятельной женой
и худеньким симпатичным сыном;
как, сидя за ужином,
в костюмных брюках и накрахмаленной белой рубашке,
густым поставленным голосом,
предусмотрительно убрав из него металл,
приберегаемый для зачитывания постановлений ЦК КПСС,
он рассказывает своим домашним о «загранице»,
окружённый уважением, заботой и,
вполне вероятно, любовью.

Потом он уходит в кабинет.
Над письменным столом,
за которым он, признаться,
почти никогда не работает,
предпочитая читать, да и писать лёжа на диване,
фотографии родителей
(простые открытые лица, отец красивее матери),
брата,
сестры

и его самого со всесоюзными знаменитостями:
вот он с хоккеистом Фирсовым
и председателем КГБ Андроповым
после финала чемпионата СССР в Лужниках;
вот съёмки «Голубого огонька»:
он сидит рядом с космонавтом Береговым,
за соседними столиками —
слегка разбавленные
орденоносными ударниками
и ударницами коммунистического труда
Лев Яшин,
Клавдия Шульженко,
Аркадий Райкин...

2010

Загадка

Две приметы-подсказки: трава
В лужах света из трещин
На асфальте растёт, и листва –
Ну, ты скажешь! – трепещет.

Левитан говорит: «ГОВОРИТ...»
(Вот ещё две приметы:
Мойщик стёкол, зажмурясь, стоит
В колпаке из газеты.)

*Миру – мир, голубике – дурман,
Зайцу – заячья капуста...*
Так – во сне – говорил Левитан,
Наяву – Заратустра.

Так, стараясь не вляпаться в грязь
(А её там немало),
Мы по кладбищу ходим, смеясь
Как ни в чём не бывало.

Хорошо улыбаться весне,
Строить дачу и планы,
Знать отгадку и слушать во сне
Баритон Левитана.

2010

* * *

Во сне всё ясно: ключ в просвете
И луч в замке,
И комнаты (уже не эти,
Ещё не те),

И стражница – глаза как блюдца,
Сама с быка...
Но разрешается проснуться
Пока... «Пока!»

2011

Упование сыроежки

Рой мух на падали шуршал, как покрывало...

Шарль Бодлер. Падали

(пер. А. Гелескула)

В насекомых тучах зудя-нытья
С кузовком по ельнику я кружился,
Весь в жуках да мухах, как будто я,
Невзначай скопытившись, разложился.

Перевод есть образ и знак потерь,
Грустный символ поствавилонской эры.
Пусть антропоморфно я был теперь
Бойкой иллюстрацией к стихам Бодлера.

Как в любых блужданиях последних лет,
Поначалу казалось: спасения нет.
Но — хотя ни мох, ни тенёк, ни слизи
Не спасли вот этот конкретный гриб, —
Повторяя просековый изгиб,
Промелькнула бабочка из прошлой жизни.

И сказал сыроежковый Иезекииль:
«Вот я видел, как в плоть облекается гниль,
В чашах правды под ёлками греясь...»
Над болотом яснела и хмурилась мгла,
Между кочек в чернике, краснея, росла
Сыроежка, лучась и надеясь.

2011

В Риме

1. Экскурсия, или Как Мандельштам Тютчева поборол

Природа – сфинкс...
Ф. И. Тютчев

Вот там Бернини, это Борромини,
Вон пинии, верней, скульптуры пиний,
Колонны пальм и фейерверки птиц...
A destra, a sinistra или прямо –
«Природа – тот же Рим» из Мандельштама
Встречает вас... А Тютчев? Тютчев – цыц!

2011

2. Hôtel de Russie. Зал «Стравинский»

К. Г.

Актёры оживляют вещи:
Стакан хохочет, сигарета
Рыдает; пальто устало –
Невозможно почти сто лет ходить в героях,
Хотя висеть в углу, наверно,
Ещё грустнее.

Мы в ресторане, как в стакане,
Сидим, как добрые злодеи.
У Катерины Грациадеи
Есть дочь актриса.

Она играет в сериалах,
Стесняясь этого напрасно –
Известно, что она прекрасна,
И это классно!

Официант из Пакистана
Мне подаёт американо,
Все прочие из политеса
Берут эспрессо.

Однажды, заложив за ворот,
Мой друг сказал мне со значеньем:
«Рим – Вечный Город» с удареньем
На слове «город».

Чуть смутный смысл подобных жалоб
Мне ясен, но ещё яснее,
Что Катерина Грациадеи
Так не сказала б.

2011

3. Местоимения

– Скажи, ты с нами или с ними?
– Я в Риме.
– Смешно... А разве возвращаться
Ты не намерен?
– Поймите, сам вопрос, ragazzi,
Такой неверен.

– Поверь, ты в очень уязвимой
Позиции, дружок беспечный!
Ничто не вечно...
– Кроме Рима,
Который Вечный.

2011

В комнатах времени

Дверь приоткрыта.
За столом,
спиной к несуществующему зрительному залу
сидят несколько (трое?) мужчин в белых рубашках.
Единственный смущённый зритель-сосед,
пробегая мимо по коридору,
вежливо отводит глаза,
но всё-таки успевает заметить
загорелые шеи,
и красивые,
что называется, благородные
мужские затылки,
и даже
то вспыхивающие, то гаснущие
в слоистой глубине по ту сторону стола
одухотворённые женские лица.
Да, кажется, одухотворённые...
Что там мелькает в комнатах времени?
Стихотворение?

2012

* * *

Однажды –
не то по случаю окончания мной института,
не то на какой-то Новый год –
баба Ньюра
подарила мне
самый трогательный подарок в моей жизни:
пластинку Аллы Пугачёвой.
Невозможно без стеснения в груди
представить себе
бабу Ньюру,
толкающуюся в магазине грампластинок
(неужели она ездила в «Мелодию» на Новый Арбат?),
не говоря уже
об очевидном непопадании
при очевидной же бабинюриной любви ко мне.
Любой поступок
глубоко верующего человека
обладает промыслительным значением.
Вот и сквозь эту историю
просвечивает надежда,
что наши,
то есть мои,
бесконечные промахи
тоже, может быть,
кого-то растрогают –
хотя, конечно,
дело не в этом.

2012

Заветные сказки для детей и юношества

1. Сися и брюква

Были у матери три дочери:
Сися, Пися и Попа,
одна другой краше
и по хозяйству сноровистые.
Пошла как-то раз Сися в огород –
брюквы к обеду надрать,
глядь,
а на грядке добрый молодец без порток
лежит-похрапывает.
Обрадовалась Сися,
кинулась сестёр кликать:
«Ой вы, сеструшки-пеструшки,
бежите скорей за мной,
не пожалеее!»
Прибежали сёстры,
а доброго молодца нет как нет,
будто и не бывало.
Только тёмный лес за плетнём шумит
да птица-грач по земле прыгает,
червячков подбирает.
Пригорюнились сёстры,
да делать нечего –
воротились в дом,
уселись у окошка,
белыми рученьками головки подпёрли –
тут и сказке конец.

2012

2. По уши в дерьме

Пошёл пьяный мужик
в отхожее место,
да и провалился в дырку.
Барахтается в дерьме,
а вылезти не может.
Орал, орал,
только глотку сорвал,
никто его не слышит –
все пьяные валяются.
Вдруг видит мужик,
будто в углу
кто-то ворочается.
Пригляделся –
а там
голая баба с хвостом.
Подплыл к ней мужик,
а она ему: «Мил-человек,
куда ж ты от меня рвёшься?
Али не по нутру тебе
моё царство?»
Растерялся мужик,
рот разинул,
а баба придвинулась поближе
и ласково так:
«Ладно,
помогу я тебе отсюда выбраться,
но сперва
ты со мной
сам знаешь что
сделать должен.
Али брезгуешь?»

Вконец смешался мужик –
вроде и баба ничего,
да уж больно обстановка непривычная.
А наружу-то хочется –
эх, думает, была не была.
Кабы знал он, чем дело обернётся,
ни в жисть не согласился бы.
Шибко приглянулся он мерзкой бабе,
обманула она его:
не отпустила.
Так по сю пору
он с ней в дерьме и бултыхается.
Тут и сказке конец.

2012

Куст, власть и музыка

В серых отсветах утра
Один, как Пруст,
В смысле перст... — *Стоп, стоп, стоп!..* — Персть от персти...
Прекрати!.. — Хорошо, просто куст,
Но — «о жизни и смерти».

Куст яснее,
А в трубке отбой,
Писк и треск под давлением —
Железяке совсем ни на кой
Разговоры с растением.

Но приходит весна:
Март, апрель,
Май, рояль... — *Будь любезен!..* — Не буду!..
Всё-таки Рихтер есть Рихтер — в Москве ль,
В Переделкино, всюду.

2012

Марсель и Иоанн

М. М.

Одно дело, когда время утрачено, но есть,
а другое — когда его нет и не будет, —
изрёк доморощенный любомудр, то есть я,
и улыбнулся без всякого на то основания.

Справа, над страховочной сеткой,
летали воздушные гимнасты,
чуть выше — ещё кто-то,
но самое главное,
что ещё правее,
в чём-то вроде световой ямы,
висела квартира,
прекрасная, как на Таганке,
только без потолка.

Из неё призывно махали,
и время качалось
между «утрачено, но есть»
и «нет и не будет».
Марсель и Иоанн.

2012

Les pensées des gens différents

1. Поэты на «М»

На собрание нашей поэтической секции,
кроме меня,
пришло всего пять человек:
Мудозвонов, Мудильников, Мудякин,
Мудовиченко и Мудаков.
Бывает же такое,
подумал я,
и стал вспоминать,
какие ещё есть поэты на «М».
Вспомнил Маяковского и Мандельштама.
Вернувшись домой,
позвонил Зундилевичу.
Он назвал Монастырского, Милоша, Малларме
и тоже затих.
Жена сказала:
Михалков.
Можно было бы, конечно,
открыть справочник Союза писателей
или антологию Ахметьева и Лукомникова,
но я решил, что это неспортивно.
Уже ночью
вспомнил ещё троих:
Мильтона, Майкова и Маршака.
Кстати,
моя фамилия тоже начинается на «М»:
Мудь.

2012

2. Страдания Михаила Кулебякина

И. П.

Комар – еврей.
Скажу конкретней: жид.
Жид-кровосос с поганым длинным носом.
Казалось бы, какие тут вопросы –
Пойди и – schissen, schneller – всех убей.

Но на меня взглянул, как на врага,
Биолог Ваня и понёс про воду,
Чего-то там про фосфор, углеводы...
Короче, я не понял ни фига.

Одно усёк: без комаров каюк,
Конкретный нашей всей экосистеме.
А парень был, как говорится, в теме,
Учёный чижик, кандидат наук.

А вдруг и жид – подумал я тогда –
Жид-человек зачем-то тоже нужен?
Прибьёшь его, и будет только хуже...
Хотя какая польза от жида?..

Но с той поры какой-то мутотенью
Стал отзываться светлый идеал.
Не то что б сокрушил – поколебал
Основы моего мировоззренья
И навсегда нарушил мой покой
Иван Покровский, гнусный шабес-гой,
Своей биологической пургой.

2012

Фрагмент одного ночного разговора

А я тебе рассказывал, что я
Кронпринц, наследник инобытия
Почти в буквальном смысле? Между прочим,
Похожем на прыжок с шестом, когда...
Который час?.. – Ты хочешь спать?.. – *Я – да,*
А ты?.. – Я – нет. Так вот... – *Дай спать...* –
Короче,
Шест под тобой сгибается в дугу,
Пружинит – и тогда, как принц... – *Угу...*
Ты спишь?.. – *Угу...* – Ну, спи. Спокойной ночи.

2012

* * *

Раньше хватало простой пустоты.
Правда, как минимум десятилетней
Выдержки – время сжималось, а ты
Приподнимался стремительно.

Море пыталось синеть, зеленеть,
Даже казаться песчаным (во время прибоя),
Но в основном, как рыболовная сеть,
Честно серело – стальное.

По абсолютно пустынному берегу шёл –
Сквозь, как положено, морось и северный ветер –
Узкий, как циркуль, старик, человек-богомол,
Наш прибалтийский ответ Джакометти.

В сказке он мог бы тушить-зажигать фонари,
Чёрный стручок на ступеньке бумажной зари...
Капли висели на соснах, сияя внутри.
Было, как раньше.

2012

Вопросы литературы. Редукция 1

А. М.

— Поэт — это... Продолжи...

— Пожалуйста.

Поэт — это фантазмагорический идиот,
которому пару раз за жизнь удаётся
(или кажется, что удаётся)
освободить звуки из родной безначальной стихии,
придать им форму и т. д.

Занят он в основном собачьей чушью,
но опыт

(или предчувствие)

поэтических удач

(реальных или мнимых)

всегда с ним.

Сверхкомплектный житель света,
с душой, вострепнувшей, как пробудившаяся курица,
он нередко пялится на мир,
о чём-то вспоминает,
уязвляется страданиями народными,
оплакивает мёртвых,
надеется и верит...

— Анекдот:

Рабинович, ваша жена вам изменяет. — Попрошу
без намеков...

— Н-да...

Возможно, всё уже случилось.

Мир изменил, как Рабинович Рабиновичу,
короче, сам себе.

Но это ничего не отменяет.

Вопросы те же:
кто виноват? Что делать?
И третий, самый главный:
где мои очки?
А, кстати, вот они — на полке,
там же, где зубы...
Так, о чём я?
— Наверное, о том, с чего ты начал.
— Да, конечно.

2012

* * *

Травка солнышком согрета,
В небе вьются мошки,
Сверхкомплектный житель света
Ходит по дорожке.

— Мама, я люблю поэта.
Он — лицо с обложки, —
Говорит Горшкова Света,
Хлопая в ладошки.

— Ах ты, ягода-конфета,
Сахарные ножки,
Ты бы, Света, лучше, это,
Сжарила картошки.

Если б ты была дурнушкой,
Но с твоей мордашкой
Я б не связывалась, хрюшка,
С этим старикашкой.

Тоже мне нашёлся Пушкин...
Мама ищет спички,
В небесах толкутся мушки,
Бабочки и птички.

Хорошо горят листочки,
Съёжился портретик.
— Слава — дым и пепел, дочка,
Дым и пепел, Светик.

2012

* * *

Визави сказал: «Хи-хи!» –
Надо спрятаться в стихи.

Ленин жив: низы, верхи! –
Надо спрятаться в стихи.

Лену приняли в МАРХИ –
Надо спрятаться в стихи.

Что дарить? Цветы? Духи? –
Надо спрятаться в стихи.

Как? Профессор от сохи? –
Надо спрятаться в стихи.

Солнце село в лопухи –
Надо спрятаться в стихи.

Валуны, стрекозы, мхи –
Надо спрятаться в стихи,

Где, как в зеркале, видны
Мхи, стрекозы, валуны.

2012

* * *

Над пустой дорожкой в осеннем парке,
В qui pro quo измученной ноосферы
Тот же столб из воздуха, тот же серый
Тон, как там, на Горького, где «Подарки».

И, как в песне Зыкиной, в смысле долго,
Под балконом (ох, держись за перила!)
Тявкал грузовик, текла «волга»
И «победа» фыркала и пылила.

Николай Бердяев любил свободу,
Пушкин тоже, хотя иначе,
А Подгорный так говорил: «Задачи
Поставлены, цели определены – за работу, товарищи».

Вот и мы говорим: задачи, цели...
Брежнев с факелом, воздух свободы...
«Где охрана?» – как выкрикнул Квиллер... Смотрели
Лучший фильм всех времён и народов?

Почему никто ничего не помнит?
Ладно б только какие-то даты,
Или химию, или сумрак тех комнат,
Где мы жили когда-то...

2012

Бомж

Christmas Carol

Вот ёлки в небо упираются,
А вот — светясь в другом окне —
Берёзы лысые качаются,
Темнея ветками сквозь снег.

Не то чтоб в доме никого,
Но даже сумерки — того,
Когда приходит Рождество,
В том смысле, что не ждут его.

Конечно, дело не в бомже.
При чём тут бомж, когда уже
Снежинки пляшут неглиже
И свет на каждом этаже.

Прекрасен дом, прекрасен лес,
Сугроб со свечками и без,
И Тот, кто умер и воскрес,
Ещё ребёнок... S. O. S.

7–10 января 2013
Лесной ручей

В Иерусалиме

К. Д.

1

Мы вышли из гостиницы с таким
Дурацким выражением на лицах,
Как будто это не Иерусалим,
А, я не знаю, Ницца.

Но очень скоро — дело даже не
В очкариках, кто с пейсами, кто в хаки,
Не в Кардо или Западной стене —
Нас окружили знамения и знаки.

На нас, по крайней мере на меня,
Легла ответственность — да-да, вот это слово.
Мне предлагалось стать большим и новым:
Прочней алмаза, горячей огня.

Как говорят в Одессе, чтоб я знал,
Откуда что берётся: сверху? снизу?
Письмо царю на «В», звонок, сигнал,
Короче говоря, еврейский вызов.

Нам подарили встречу и печать
В залог, что нам не сделаться одними
Из тех, кому не встретиться опять.
Забуду ли тебя, Иерусалиме...

2013

2

Хамсин, а не самум. В каких песках?
О чём ты говоришь — конечно, сами.
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С печальными еврейскими носами.

Они идут в шабат сквозь этот мир,
Где всё разъято, смешано, разбито,
И тот, который светится из дыр,
Протёртых в этом наждаком иврита.

Само собою, там всегда шабат
И всё кошерно: каждая травинка,
Как здесь кошерны их походка, взгляд,
Молитвы, вздохи, бороды, ботинки.

Вот мимо нас они идут впотьмах
По улицам своим огнеупорным
В широких шляпах, длинных пиджаках,
Пылающих то золотым, то чёрным.

2013

* * *

Чтобы не остаться наедине
С тишиной внутри себя и вовне,
Потому что слишком большие волны,
А кораблик утлый, и лоцман — полный
Идиот, и скучно лежать на дне,
Капитан по имени Чан Суй Фай,
Чуть займётся утро, включал hi-fi.

«Звук подобен морю: прилив, отлив;
Тишина коварна, как мель, как риф», —
Поучал Чан Суй, и простые души,
Моряки, внимали ему, забыв
Обо всём на свете. Один Ван Чи,
Вежливо кивая, вставлял беруши,
Глядя, как на брызгах стоят лучи.

2013

Старые фотографии

Я хочу на «тот свет» прийти с носовым платком.
Ни чуточки меньше.

В. В. Розанов

Всё-таки очень трудно
представить себе рай.
Хотя
если постараться,
то можно.

Для начала
надо вообразить
абсолютно прекрасное самочувствие,
какое
последний раз
было у тебя, наверное, лет в шесть.
Нет! Ещё лучше.
Потом — родные.
Все живы-здоровы.
Сказано, что в Царствии Небесном
не женятся и не выходят замуж —
слава Богу! —
но про еду ничего не сказано.
Поэтому вполне можно представить,
что бабушка
стоит у райской плиты
(кстати, не так уж сильно отличающейся
от двухкомфорочной электроплитки,
которая была у нас в Александровке),
помешивая что-то райское
в райской кастрюльке.

Баба Ньюра ушла в райский магазин.
Папа собирается на райскую работу.
Мама шьёт бабушке райское платье...
После обеда мама с бабушкой
читают,
устроившись под соснами
на широкой райской раскладушке.
День полон множества других райских чудес.

Вопреки расхожему мнению,
основанному
на неверно понятом библейском стихе,
время в раю
есть.
Естественно, не такое, как здесь.
То же касается и пространства.
Принцип трёх единств,
насильственный
и для земной драматургии,
в драматургии небесной
просто отменён.
Наши самые смелые представления о свободе
посрамлены.

Говорю это на тот случай,
если кто-то уже собрался
обвинить меня
в чересчур жёсткой режиссуре.
Мол, бабушке,
может быть,
совсем не хочется стоять у плиты,
а то и вообще быть бабушкой,
а папе — ходить на работу,
даже райскую.

Конечно, в раю
каждому дарована способность
находиться где угодно когда угодно.
В том числе
в разных местах одновременно.
А понятия возраста
там вовсе не существует.

Былое сбудется опять,
по-видимому,
вернее,
невидимому,
означает следующее:
главное прошлое —
единственное,
что тут
точно есть, —
станет частью того,
чего тут нет
и не может быть,
а именно
будущего
(в настоящем смысле этого слова)
или —
sub specie aeternitatis —
настоящего
(в будущем смысле),
которое —
представляй не представляй —
другое, другое, другое...

2013

* * *

Как свет под соснами, где ты и тут и там,
Как Фигаро, а то и Мандельштам,
Порхающий над эс-эс-эр, как слово
Над вещью... Там и тут, два мотылька,
Один – оттенка светлого желтка,
Второй – как небо: нежно-голубого.

«Вас к телефону», – говорит зола
Золе, и та встаёт из-за стола,
Под окнами сосед кричит: «Пошёл ты...»
Другому пьянице... Над клумбой у грибка
С песочницей кружат два мотылька:
Небесно-голубой и бледно-жёлтый.

И получается зелёный день, где там
И тут, и сразу весь Адам,
И даже то – вот сели, вот вспорхнули, –
О чём сейчас вот здесь и только здесь
Туда-сюда шьют солнечную взвесь
Два мотылька под соснами в июле.

2013

Тётя Дося

Не хочется банальностей и бредней.
Я помню полноту и доброту
И как она несёт пакет со снедью
На пляж... *Бульвар Французский весь в цвету.*

Из слов её я помню только лишь
Вот эти вот потом по телефону
Мне ахнутые: «Что ты говоришь?!»
И что-то вроде стона.

Но это было позже, а тогда
Утёсов пел про *тоже патефончик*,
Мы пили чай, к которому всегда
Мне полагались сахар и «лимончик».

Был сахар сладок, а «лимончик» кисл.
Позавтракав, мы шли на пляж с пакетом.
И если в чём-то сохранился смысл,
То в этом.

2013

* * *

В прозрачной дымке на краю земли,
Как, может быть, сказала бы графиня
Ростопчина, взглянув в окно на синий
Еловый бор, мрачнеющий вдали...

День угасает. У крыльца цветёт
Сирень какой-то чрезвычайно редкой,
Нездешней разновидности; в беседке
Темно. *Уже написан «Идиот».*

Сирень мерцает; соловьи гремят,
Захлёбываясь в собственных руладах...
Графиня медленно идёт по саду
Меж старых лип, любясь на закат.

2013

Памяти И. М. Смоктуновского. Царь 1

Всё дело в том, что дела нет ни в чём.
Есть человек и голос, говорящий:
«А ты, Аринушка, Минеи б разогнула
Да житие святого Иоанна Ветхопещерника прочла бы мне».

Бояре, стольники, сокольничьи, собаки,
Конечно, тоже были, но не зря
Театр (*весь мир – театр*) тонул во мраке,
Свет был направлен только на царя.

И было всё понятно: Гамлет, князь
Мышкин, Юра Деточкин – вот доблесть
И честь... *Так образ входит в образ...*
Я весь спектакль сидел не шевелясь.

Тогда в Москве ещё существовал
Ряд крайне одиозных представлений
О том, что нужен Бог и важен гений...
Потом зачем-то дали свет на зал.

Наверное (как выражались встарь)
Рискуя показаться попугаем,
Я всё же проскриплю: у нас был царь-
Юродивый – и жизнь была другая.

2013

* * *

Вот они,
загорелые, сухопарые, улыбчивые,
распространяя эманации чистоты
(моральной и физической)
и духовной подтянутости,
выходят из стеклянных дверей
опрятного сельского магазина.
Закрепив пакеты с покупками на багажниках
своих статных горных велосипедов,
они открывают карту,
обсуждая что-то —
нет, я не узнаю язык —
по-датски? норвежски? нидерландски?..
Вероятно, это пара.
Ему — под семьдесят,
ей — немного за пятьдесят.
На обоих
высокие, явно очень удобные кроссовки,
светлые шорты,
светлые футболки,
тёмно-красные рюкзаки.

Андерсен, Амудсен, Брейгель и Кьеркегор
одобительно кивают.

Маршрут определён.
Муж аккуратно складывает карту,
и они выводят велосипеды
на велодорожку.

Вот они,
живое воплощение и оправдание
европейской культуры,
уже в седле,
вот трогаются
и, набрав скорость,
исчезают за поворотом.

Остаются сосны,
пустое шоссе
в миражных солнечных лужах,
светло-голубое небо.

Я не спорю –
ислам тут
ни при чём.

2013

* * *

Как будто дождь, как будто дождь, как будто —
Всю ночь — шуршат страницы, льются слёзы.
Нет ничего реальнее «как будто»,
Не улыбайтесь, господин философ.

Не ночь, а Мунк: безумье, мрак и страсти.
С рассветом настаёт пора «как будто».
Тебя как будто нет, и тут же — здрасьте-
Пожалуйста — тыходишь. С добрым утром!

Нет, здесь уже не обойдёшься светской
Улыбочкой, как в тускловатом зале
Недорогой гостиницы со шведским —
Buffet — столом и розой на рояле,

Которая ни очно, ни заочно
Не благоухает — это точно.

2013

* * *

Вокруг стоят громады
Домов — живи, трудись.
А жители не рады —
Бредут понурившись.

В весенней светлой мути
Район что твой гауоц,
Но «Путин», «Путин», «Путин»
Летит со всех сторон.

Так кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остался призывок чуда,
А Германа всё нет?

2014

* * *

Тук-тук.
Кто там?
Шар букв.
Я сам
шар букв,
звук, знак.
Тук-тук.
Чик-трак.

2014

* * *

О. М.

– Сегодня солнце, – объявляет он, –
Я вам накрою на балконе.
Оттуда весь залив как на ладони.

– Конечно, – говорю, – спасибо, Джонни...

Приятный сон.

2014

* * *

Вот дядя в кепке с бородой седой,
Вот бабушка в платке с кривыми ножками,
Вот юноша высокий, краснощёкий...
И что всё это значит? Только то,
Что я иду по улице *в пальто*
Из драпа, сдержанный... и кстати,
Теперь навстречу школьники – ха-ха,
Хи-хи, ха-ха, и вдруг один: «Тиха
Украинская ночь...» Эх, тёти, тяти...

2014

* * *

My running around is through,
I fly to you...

*Lionel Bart
From Russia with Love**

Я возвращался — комната ждала.
Я это знал. Бессмысленная радость
Плескалась в ней и в зеркале стола
Качалась

С деревьями вниз головой, с овцой
Взъерошенного облака, с высокой
Дневной луной, сапфирной стрекозой,
Серебряной осокой.

Откуда стрекоза? А как вам пол
В смарагдах, хризопразах, сердоликах?
Хрустальное окно? Жемчужный стол?
Алмазный потолок в глазках и бликах?

Я видел небо как бы из стекла
И озеро в тоске нелицемерной.
Я взял такси. Она меня ждала.
Любовь безмерна.

2014

* Мои странствия окончены, я лечу к тебе... —
Л. Барт. Из России с любовью.

* * *

Старушка за восемьдесят —
землистые щёки,
«гробовой» платочек, очки
с какими-то неправдоподобно толстыми стёклами —
едет в метро.
В руках глянцевый журнал.
Вся с головою в чтение уйдя,
она штудирует
«Звёздные секреты стройности
от Виктории Боня».
Ещё лет десять назад
я бы недоумевал.
Сейчас я её понимаю.

2014

* * *

Е. Л. Ш.

Из жёлтого шара чёрных блестящих букв
В голубоватый куб белого снега.
Он идёт по двору. Слышно «хруп-хруп» —
Снег скрипит, как намазаная телега.

Я смотрю на его андеграундный модный тулуп,
Диссидентскую бороду, облачко пара...
Вот тебе и советская власть, вот тебе и «хруп-хруп»,
Вот тебе и сансара!

2014

* * *

Что делать, чтобы не стареть? –
Подумал человекодед.
Пореже в зеркало смотреть, –
Подумали ему в ответ.

За этакий совет халиф
Визиря, сиречь визиря,
Наверное б убил, вспылив,
И, между прочим, очень зря.

По существу советчик прав.
Зеркальный космос слишком пуст.
Об этом знал кошмарный граф
Из первых уст.

2014

Воздушный шар

То выше подлетал, то ниже
Спускался шар.
Нам подарили ночь в Париже
На рю Муфтар.

Потом он дёрнулся, а после,
Пропев «уа»,
Скукожился, чтоб я, как ослик
Иа-Иа,

Хранил тебя, моя слепая
Ночная ню...
Как ты белеешь, засыпая...
И я храню.

2014

* * *

Дениска Кораблёв в витрине
С обложки пялится в окно.
В одном саду посередине
Стояло дерево одно.

Как говорил товарищ Сталин,
Размяв щепотку табаку,
«Не то чтоб мы его познали,
Но откусили по куску».

Не всякая душа потёмки,
Внутри иных светло как днём.
Ушанок мёрзлые тесёмки
Стучат о кружки с кипятком.

Война и мир. Цветёт сурепка,
Картошка морщится в золе.
Лев Яшин поправляет кепку,
Готовясь обыграть Пеле.

Везёт, когда в колодце света
Ещё один, за глубиной

Другая, та, что глубже этой
Прозрачной, солнечной, сквозной.

– Гурджиев – справа, третий с краю,
С усами... – Поздно, я пойду...
Сосна скрипела, расширяя
Сознание в одном саду.

2014

* * *

Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама...
Костя Баранников – Лев Ошанин

Казалось в детстве, что актёры,
Такие, скажем, как Никулин
Или, допустим, Смоктуновский,
Не могут умереть –
А как же они умрут,
Когда на них все смотрят?..

Вот он стоит на сцене или в цирке
Или в кино ест, бреется, смеётся...

Короче говоря, начало лета,
Окно открыто. Солнце, небо, мама,

И радио выводит: «Пусть всегда...»

2014

* * *

Т. М.

Люблю свои стихи за их прозрачный свет,
Который в них – тьфу-тьфу – присутствует, поскольку
Не будь его, и их бы не было – о, нет! –
А был бы стыд-позор – и только.

А с ним они что пень, сухие вопли рук
В позднеапрельскую истому
Простерший, мол, прощай, всё кончено – и вдруг
Зазеленевший по Толстому.

Нерукотворный пень стоит в пустом лесу,
Высоких зрелищ зритель, брат и тотем,
И первый жук блестит над ним, как су,
Монетка в смысле, бог с ним с самолётом.

2014

* * *

Когда мне говорят «начало века»,
Я думаю про тот, конечно, век,
Где Блок на фоне университета
Идёт сквозь мягкий довоенный снег.
Потом, конечно, лето, музыканты,
Люстриновые пиджаки,
Пригорки, звонкий смех, излуцина реки,
Домашние спектакли, фанты.
Потом Сиена, Прага, Гейдельберг,
Монмартр, «Ротонда», Бакст, Шагал, Нижинский,
Кандинский, Добужинский и Стравинский
(На нём единственном тёмно-лиловый фрак),
Малевич, Ходасевич, Пастернак.

2014

* * *

Я хотел бы не понять,
Но случайно взял и понял.
Понял и пошёл гулять.

На небесно-синем фоне
Лес шумел со всех сторон.
Сосны, подавляя стон,
Ограничивались скрипом,
Зеленели, золотясь,
Вышелушивая связь
Между знанием и всхлипом.

2014

Бабочка

Нельзя не признать,
что в последнее время
биология
в техническом отношении
шагнула далеко вперёд.
Например, в распоряжении учёных,
изучающих бабочек,
сегодня имеются
крохотные радиопередатчики,
которые крепятся к тельцу насекомого
и нисколько —
во всяком случае, по утверждению изобретателей —
не мешают полёту.

Разумеется, в шестидесятые годы прошлого века
ни о чём подобном не могло быть и речи,
так что моему дяде энтомологу
приходилось по старинке
помечать свои «объекты»
обычной несмыываемой краской.

Вдохновлённый дядиным примером,
я однажды поймал
залетевшую к нам на террасу
шоколадницу
и тоже пометил её,
нарисовав у неё на спинке
корявую «А»,
начальную букву названия деревни,
где родители снимали дачу.

Согласно данным энтомологических исследований,
шоколадницы живут до полугода
(с мая по октябрь)
и, в отличие от других видов,
ведущих более или менее «оседлый» образ жизни,
свободно мигрируют
по всей Голарктике.
Однако *моя* бабочка
оказалась домоседкой.
Тем летом я видел её
ещё несколько раз —
на участке около дома
и снова на террасе:
присев на нашу марлеву занавеску,
она — как мне показалось —
дружески и чуть ли не заговорщицки
помигала мне
своими прекрасными тёмно-оранжевыми крыльями.

Вчера, сорок семь лет спустя,
в лесу, на пронизанной солнцем просеке
неподалёку от эстонской деревни Кясму,
за тысячу двести километров
от подмосковной Александровки,
я опять встретил свою бабочку.
Конечно, она уже не та:
поседела и летает не так стремительно,
но ошибиться я не мог —
детскую кривоугольную «А»
ни с чем не спутаешь.

Я не питаю иллюзий.
Нелепо было бы ожидать,
что хоть кто-нибудь
воспримет мои слова всерьёз.

К тому же у меня нет доказательств.
Подозреваю, кстати, что даже
если бы доказательства
(скажем, фотографии)
существовали,
они всё равно никого не убедили бы
просто потому,
что Такого Не Может Быть.

Между тем это чистая правда,
только не обыденная,
ничтожная
и, по сути дела, никому не нужная,
а настоящая:
сияющая и неприступная,
такая,
в которую невозможно поверить.

2014

Монтрё-Палас – Монтрё-Кларанс

Мне в моём Монтрё
Никогда не тесно,
Как сказал когда-то,
Взмахнув сачком,
Éсгіваіп Владимир,
Срываясь с места
Встречи бабы с бабочкой,
Нет, неба с озером,
Нет, папы с мальчиком,
Нет, та́-та с та́-та-та,
Жучка с сучком.

2014

Послушные дети

Чем одарённое человек,
тем монументальнее чушь,
которую он порет.

Заворожённые *мощью*,
подавленные *суггестией*,
сбитые с ног ударной волной
непреходящей ценности
и неисчерпаемой глубины,
мы (человечество)
из века в век,
из тысячелетия в тысячелетие
повторяем
как бы высеченные в камне
Глупости Великих Людей.
Собственно,
в постижении,
а точнее сказать,
запоминании
этих глупостей
по большей части и состоит
наше гуманитарное образование.

Надо отдать нам должное:
мы оказались добросовестными учениками
и на редкость послушными детьми,
никогда не нарушающими материнского запрета
из популярной советской песенки.
Помните?

*За окошком свету мало,
Белый снег опять валит,
И опять кому-то мама
Думку думать не велит.*

2014

Возвращение Одиссея. Царь 2

По городу идёт Никулин.
Его никто не узнаёт.
Ведь в фильме-то он не Никулин,
А, так сказать, наоборот,
Обыкновенный дядька в кепке –
Как все, безвестен-безымян, –
Народ Народыч, между тем как
Он царь, и, если б не туман
В башках, его и наших, мы бы
Дотумкали уже давно,
Что он, как говорится, прибыл
Домой в кино и не в кино.

2014

Внезапный ливень в лесу

Я оглянулся — никого.
Бескомпромиссный фокус с ливнем.
И ветром. Чем не Во? Что «во»?
Не что, а кто — конечно, Ивлин.

It's raining, — вот как пишет Во,
И вот уж мы как будто сами
В кирпичной Англии его,
Задрапированной дождями.

Однако лес не то что паб,
Где, как сострил всё тот же Ивлин,
Едва присел, «Good morning» — ап! —
А за окном уже good evening.

Нет, тут и Во, скорей всего,
Не стал бы важничать и даже
Бросать под дождь свои бонмо,
От силы протянул бы: «Oh»,
Мол, that's some rain — а что тут скажешь?

2014

Перечитывая Винни-Пуха

Мы шли вокруг пруда, и я упал в нору
Пространственно-сердечно-временного
Континуума, где, как в сумке кенгуру,
Затих ещё одним не Крошкой Ру.

Количество и качество чужого
Сравнимо только с градусом вранья.
Я тоже врал и, к смерти не готовый,
Дрожу теперь в кармане бытия.

2014

* * *

Магазин канцелярских товаров.
Он же писчебумажный,
В первом – как сказали бы раньше –
Этаже двадцатидвухэтажной
Башни...
Облака и троллейбусы
Входят наездом, наплывом
К авторучкам и тубусам,
Циркулям, скрепкам, чернилам...
На счастливом проспекте
(Счастливом? Конечно, счастливом)
Тишина, пустота... Комары
В сосняке над обрывом.

2014

Вопросы литературы. Редукция 2

«Это – круто налившийся свист,
Это – щёлканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьёв поединок...»

Так было раньше,
а сегодня
лирическое стихотворение –
краткое высказывание по делу.

Это честнее,
но скучнее.

Поэтому я предлагаю так:
поэт подходит к микрофону.
Уютный зал
(тысяч на десять –
хотел написать «на сто»,
но подумал, что это уже неуютно
и отдаёт антиутопией)
замер в ожидании чуда.
Стихотворение...
Впрочем,
если на поэта
пришло столько верящих в чудо,
остальное почти не имеет значения.

А вот если всё так,
как на самом деле,
то есть в душноватом зальчике
сидят тридцать, ну, пятьдесят,

хорошо, пусть даже сто пятьдесят человек,
не ждущих от стихов
ничего особенного,
что тогда?
Что должно произойти,
чтобы сердца собравшихся
исполнились восторга и благодарности?

Нас долго учили,
что настоящее искусство
не даёт ответов,
а только ставит вопросы.

Наверное, когда-то
этого было достаточно,
но сегодня
с вопросами и так всё в порядке,
а вот с ответами
полный швах —
слишком глубоко погребены они
под завалами
нашей несчастья.

Надо разгрести завалы.

«Где трудна работка,
Там визжит лебёдка»...

Орфей спускается в ад.

Собственно,
история этого путешествия
и есть архетипический сюжет
самых непридуманных русских стихов...

Орфей подходит к микрофону.

Раздаётся выстрел:
«счастья краткий выстрел»,
как будто где-то далеко-далеко
лопнула банка с эфиром.

Ответы у каждого свои.

Завалы общие.

2014

* * *

Извините за то,
Что я к вам обращаюсь,
Просто я долго ль, коротко ль
Развоплощаюсь.

Это я не к тому,
Чтобы вас тут разжалобить, просто
Есть такая история,
Братья и сёстры:

Обруч плыл золотой
По морям без конца и начала,
А одна черепаха всплыла и слепой головой –
Бац! – в него-то как раз и попала.

Да... О чём это я?..
Вот забыл, извините, конечно...
Вспомнил! Льётся фарфоровый свет
На бесхозные вещи,

Осеняя террасу, сарай,
Озаряя дорогу...
Так что ад – тоже, может быть, рай,
Слава Богу.

2014

Домашние спектакли

* * *

Шёл недавно домой от метро
и вдруг вспомнил...
И вздрогнул и брякнул:
«Какой бред!»

И сразу же устыдился
и подумал:
а вспоминает ли
хотя бы изредка
она обо мне?

Что это для неё?

А потом подумал:
чушь это всё!

А потом —
нет, не чушь!

А потом —
сегодня чушь,
тогда — не чушь.

Контекст...
Дело в контексте!

Не говоря уж о рте,
то есть роте,
в смысле про рот...

«Но пока мне рот не забили глиной...»

Вот и всё.

Всё.

Всё.

2014

Птичка

* * *

Честно говоря, чушь собачья
По сравнению с... Вот
И птичка поёт, что бывает иначе,
Вот и травка растёт.

Дежавю плюс... как это... эфирное тело:
Свет на свет выплывает из сна.
Вот лимонница села и снова взлетела.
Что весна – то весна.

12 апреля 2015

Неожиданная находка, или Разговор Булата Окуджавы с Мерабом Мамардашвили после просмотра «Бриллиантовой руки»

Расползлось, растеклось, разлетелось по всей ойкумене.
Зря старались лучи, композиторы, клоуны, все,
Кто старался, включая Андрея, что прыгал по сцене,
Как слова по шоссе сквозь туман полоса к полосе.

Поднимите, пожалуйста, синие взоры,
Так сказать, отряхнитесь от сна.
Вот лежит на боку чёрный ящик Пандоры,
Сбита крышка – земля спасена.

(И опять все поют, только Мамардашвили
Сокрушённо скрипит головой.)
Изумительно мыслей твоих чахохбили,
Но надежда сильнее, дорогой.

2015

Ф. М. Достоевский и А. Г. Сниткина
выходят на Воздвиженку
из метро «Библиотека имени Ленина»

– Это что там за хрен с бороною?
– Ты. – Как я? Это я? – Ну не я же!
Достоевский закашлялся даже.
– Что ты, Аня! (Господь, мол, с тобою.)

Вдруг припомнил Настасью, Аглаю
И – со вздохом – что это не Невский...
– Так, смотри-ка, и впрямь – «Достоевский»...
Кстати, Аня, зайдём к Николаю.

Он, конечно, старик оголтелый,
И наука его не наука,
Но чудесная всё-таки штука –
Философия общего дела.

2015

* * *

Всё чепуха, труха и шелуха.

Иисус сказал: «Пусть тот, кто без греха...»

Он ничего не говорил про милость.

Но люди разошлись, потупив взгляд,
Тогда, две тыщи лет тому назад.

Сегодня положение изменилось.

Хотя и те ребята были не
Шагаловские дачники в окне,
Не Зингеры в очках, не раби Зуси,

И совесть их не то чтоб ни при чём —
Но дело всё-таки не в ней, а в Нём,

Не в устыдившихся, а в Иисусе.

2015

* * *

Каждое утро
в течение не то семи,
не то девяти дней
мой приятель
фотографировал семейку опят.

На первом снимке
грибы маленькие, круглые,
крепенькие
(слово из эпизода полувековой давности:
отец раскладывает на крыльце *по росту*
несколько белых и подберёзовиков,
дачная хозяйка прицокивает:
«Крепенькие!»),
на последнем —
тёмно-бурая слизь.

Вот так и люди:
сначала крепенькие,
потом слизь.
Или пепел.

Тоже мне новость,
скажете вы.

Новость не новость,
а интересно.

2015

* * *

Не исключено,
что *déjà* и *jamais vu*
одно и то же
и имеют такое же отношение к реальности,
как наши представления
о них самих.

2015

Два Фёдора

Не то чтобы в прямом, скорей в заочном
Эфире повстречались Фёдор Палыч
И тоже Фёдор – правильно – Михалыч,
Герой и автор в отпуске бессрочном.

Сошлись и обнялись и ох как славно
Поговорили про детей, про то, как
Они жестоки, как вообще жестока
Земная жизнь, жестока и бесправна.

Солировал Фёдор Михалыч, Фёдор
Же Палыч думал: «Ну и типчик!»
Потом поговорили про *изгибчик*,
Про женскую всю эту дурь и одурь.

О чём *не* говорили: о Всевышнем,
Жидках, уделе русских незавидном,
Обоим это показалось лишним,
Пустопорожним, слишком очевидным.

2015

* * *

В серых стёклах, не то зеркалах
На каком-то закате-рассвете
Эта женщина честно светилась впотьмах,
В полумгле-полусвете.

О позорно-неловкие полуслова:
Перелёт-недолёт, но без них мы,
В смысле я, знать-то знал, но набрёл бы едва
На Незнайкины рифмы.

А они хороши. Почему? Потому
Что ботинки и полуботинки,
Да и палка – селёдка (одно к одному),
Как подушки-простынки

На диване, нет, полудиване, тахте
Или кресле-кровати...
Как вот эта вот женщина в той темноте
На рассвете-закате.

2015

Варшавская элегия

В кровавых отблесках закатного огня
Я вышел из дому, помятый и небритый,
И мысли чёрные окутали меня
Как бы туманом ядовитым.

Ни славы, думал я, ни денег ни хрена,
И с каждым днём, ей-ей, слабеют жизни силы,
Народ за Путина, и юная жена
Меня, похоже, разлюбила.

Не зная никого, не знаемый никем,
Блуждал я сумрачно по сумрачной Варшаве,
О чём бы ни спросил, в ответ неслось: «Не вем».
То так. Сплошной «не вем». А небо всё кровавей.

2015

* * *

Мы с папой играли в серсо.
Мне было приятно, однако,
Пока подлетало кольцо,
Душа успевала поплакать

Среди малышей без трусов
На пляже и дядек поддатых
На лавочках у корпусов
Советского пансионата,

Где, глядя в столовский вокзал
Поверх запеканок и вафель,
Я чайную – с громом – ронял
Нечайную ложку на кафель.

Но тут появилась она.
Я выронил вилку и ложку,
Я сам себя выронил на
Залитую светом дорожку.

Её очевидная связь
Со всем, что и есть непреложность,
Меня затопила, лучась,
Как чистая, в общем, возможность.

Мне начало сниться не то,
Такое, что даже пугает.
Фон Триер, Бердслей и Кокто,
Как щас говорят, отдыхают.

Слепой – от смущения – как Пью,
Как Сильвер – от счастья – неловкий,
Я ел запеканку в раю
Гремящей советской столовки.

2015

О перемене ума

Хорошо, допустим, дело в том,
Что не надо петь с набитым ртом
Ни в прямом, ни в переносном смысле.
Я про всё: про пение, и про рот,
И про то, что нас с тобою ждёт
Кривоногий умывальник «Grizzly»,
Если мы не переменим мысли.

Это как в военных лагерях,
Думаешь о чём-нибудь, вдруг — бах! —
«Веденяпин, два шага из строя!
Что ж ты, — тут идёт беззлобный мат, —
Портишь нам статистику, солдат,
Ты ж интеллигент и всё такое.
Ну-ка мухой сделал метанойю».

2015

* * *

В Италии я был в музее митр
На выставке старинных клавесинов.

Как если бы этюдник и пюпитр
Поспорили на рощу апельсинов,
Что лучше: цвето- или звукоритм,
Внутри царили Бах и Барбарино,
Снаружи пальмы, ласточки и мирт,

В мечтах – Мальвина,
В сердце – Буратино.

2015

Маяк

Старик сидит в прозрачном «помните»,
Как на террасе или в комнате

Среди смеркающихся слов,
Перед окном, открытым настежь,
Где то потухнешь, то погаснешь,
Разглядывая свой улов.

Когда темно и непонятно,
Стон, плач и солнечные пятна.

Там, где ни слёз, ни маеты —
Родные вспышки темноты.

2015

* * *

Когда мы подъехали к дому, было уже темно.
Дождь мерцал, ветер дул со стороны залива.
Ты была в белом свитере и сером плаще, как в кино
Бергмана или Годара, в общем, очень красивой.

Пахло жасмином, морем, соснами и травой,
Счастьем, сказал бы я, только не вечным, взрослым,
Где чёрный мальчик с факелом кружит над головой
Чуть ли не в каждом кадре, – взрослым, чересполосным.

Мы устроили ужин (кстати, может, и нет),
Точно чего-то выпили – in vino ve... – иначе
Что ж за кино? Когда я позже выключил свет,
Снова стал виден сад и крыша соседней дачи.

2015

* * *

Кто-то снизу крикнул: «Поручик!»
И поручик Сунцов прошагал к окну.

Ни души. Пустовал даже грязный стульчик,
На котором вечно кряхтит этот горе-сапожник, ну,
Этот жид – как его? – Шмутьчик? Срульчик?..

«Господа, – ни с того ни с сего прошептал поручик, –
Всё пропало: Россия идёт ко дну».

2015

* * *

На тропинке иголки, травинки,
На дорожке листочки, серёжки,
Крупным планом сапожки, ботинки,
Мельтешащие детские ножки.

Перевернутый смысл пантомимы,
То есть этой заставки-картинки,
В том, что всё настоящее мимо
Пролетало, как эти ботинки.

Фильм о школьниках. В классном журнале
Или на физкультуре по росту
Это мы там, как буквы, стояли,
А оно проносилось, как звёзды

По доске то ли южного неба,
То ли карцера — помните карцер
Таганрогской гимназии, где бы
Сел да так и сидел до вакаций?

2015

Кясму. Утро в лесу

Нет ничего прекраснее, чем лес
С нечастыми вкраплениями датчан
На великах, и пеших англичан,
И даже немцев с картами и без.

В лесу ты есть такой, какой ты есть,
Но лучше, вероятно потому,
Что здесь, в лесу, слышней благая весть,
Или ещё Бог знает почему.

В лесу живёт прозрачный свет, а в нём
Прозрачный смысл, а с ним любой дурак —
Да что уж там — любой духовный гном
Становится уместным, как овраг,
Болото, камень или бурелом.

2015

* * *

Какая-то птица скрипела,
Название птицы, увы, —
Канюк? Пустельга? — улетело
Из ржавой моей головы.

Бывают же птицы на свете
И солнца круги и слои,
Где бабочки делают эти
Балетные взмахи свои.

Бывают же лес и черника,
И лес, и черника, и свет,
И ягель, и море — и дико,
Что этого, может быть, нет

В том месте, куда нас, понятно,
Не то чтоб пустили, но где,
Наверное, было б приятно
Сквозь сосны спуститься к воде.

2015

Kukeseened*

Алиде Пурью

В так называемых посадках
(Я не о сталинских затеях),
В квадратах сосен, как на грядках,
Стоят, желтея,
Игрушечным отрядом Мао,
Распетушившимся не в меру
Под небесами Лахемаа
В заливе Эру.

2015

* Лисички (*эст.*). В буквальном переводе — петушиные грибы.

* * *

Надеешься на да, а если нет,
Вот нет и всё, и всем, смежившим очи,
Желают, так сказать, спокойной ночи
И аккуратно выключают свет.

Un vrai monsieur, единственно бесспорный
Знарок, как *comme il faut* держать лорнет,
Вертинский утверждал, что синий цвет
Для фрака предпочтительней, чем чёрный.

*На сцене, в свете рампы, господа
(Товарищи, — он поправлялся сразу),
Всё чёрное покажется всегда
Как будто пыльным, а артист обязан*

*Быть вечно новым, свежим, как вода,
И, — сбился вдруг, — надеяться на да.*

2015

* * *

А. Б.

С балкона вид на плохонький лесок.
С опушки вид на полудохлый дом
Отдыха с желтеющим окном,
Всего одним: твоим (моим?), и в нём —
Сидящим с головою на бочок
В протрации перед пустым листом —
Писателем... Что скажешь, старичок?..
А я уж всё сказал. Теперь — молчок.

2015

Психотерапевтическое

В зеркале сна
Юнг увидел гну.
«Не дрейфь, – крикнул Фрейд, –
Это всего лишь
нос».

2015

Туман в Ярославле

А. П.

Норштейновский туман над нами проплывает.
Поёживаясь, мы почти не верим, что
Вон там (У-гу! – У-гу!) лежит, как неживая,
Бурлацкая река в декабрьском пальто.

Как Тютчев говорил какому-то министру,
«Рассчитывать на то, что “вспрянет ото сна”,
Примерно то же, что пытаться высечь искру
Из мыла...» Но бывает белизна,

Она же пелена, в которой время-место
Уже важны не так, как то, что есть ладонь,
Раскрытая в исконном смысле жеста,
Иконном, в том, в котором смысл – огонь.

2015

* * *

Ты ещё в метро, но уже как будто
Дома — прыгнул и повис, как Нижинский,
В комнате, где медленные минуты,
А в окне мимические снежинки.

В многоярусной плюшевой табакерке
То сверкнут очки, то блеснут бинокли.
Сон во сне, видение? Хрен редьки
Не слаще — Ананке, рок ли...

Что Париж — бери выше — паришь над сценой,
Как в зловещем космосе чёрно-синем
Космонавт Леонов, поджав колени,
На своей нейлоновой пуповине.

Раб волшебной лампы, артист в законе,
Весь в мечтах-прозрениях, как в темнице...
Осторожней с мечтаниями — вот что я понял
К своим ста пятидесяти — могут сбыться.

2015

Енгибаров

Я шёл по весенней Москве,
Всему просиявшему – оду-
Неодушевлённому: окнам, траве –
Бормочущей оду не оду.

Забросившей поверх толпы
На дерево вешнюю пташку,
Как внешнею частью стопы
На голову чайную чашку.

Две спички в ущелье ручья –
Регата ни много ни мало.
Я, кстати, хотел, чтоб моя
То выиграла, то проиграла.

Какой бы была наша жизнь,
Каких бы не знала кошмаров,
Умей мы хоть что-нибудь из
Того, что умел Енгибаров.

2016

Может, хватит, или Весна древнесоветская

Эх, Даная, Дана...
Здравствуй, весна!
Локоть, зеркало, шкаф,
Вид из окна
На повергшихся ниц
В лужи — чвирк-чвирк —
Расшумевшихся птиц...
Вот те на!

Локоть, шея, рукав —
Световой боди-арт.
Закрывается шкаф,
Открывается март
Или даже апрель,
А ещё лучше май.
Не метель нас, метель...
А, Дана... Адонай.

2016

Чехов. Возвращение с о. Сахалин

Душа снаружи, а не внутри, –
Сказал писатель Ромен Гари.

Мы ощупью бредём среди чудес и тайн, –
Сказал учёный Альберт Айнштейн.

А что цикаута, – под звон цикад
Сказал философ в саду цитат.

Примерно то же в ином ключе
Сказал прозаик на букву «Ч»,

Когда, едва не лишившись чувств,
С садком подмышкой, в садке – мангуст

(«Мангус», как сам он писал в письме),
Он стал спускаться, блестя пенсне,

По сходням, полный пространством и
Недоумением, с платком в крови.

2016

Сонет

...светозарный бог...

Тютчев

По улице шёл светозарный бог.
Машины отражённым светом
Светили в темноте, как сигареты,
Наверно, рыбаков.
Откуда бы иначе поплавок,
И то сказать, почти неразличимый
На снимке, где среди ночных стволов
Блестит вода, стоят дома из дыма
И автор этих строк
Не в фокусе? Так что ещё вопрос,
Как Анненский писал: «То я ли? Я ли?»
Но важно то, что — опущу детали —
Тот, светозарный, приближаясь, таял,
А удаляясь — рос.

2016

Икар

Остаётся то, что остаётся
В световом пятне.
Остальное больше не вернётся
Ни внутри, ни вне.

— Интересно, что же остаётся, —
Вздрагнет молодой
Литератор, шевельнув сурово
Нежной бородой.

— Блик иного, мальчик, блик иного, —
Я скажу ему.
И взлетит непрошеное слово
И падёт во тьму.

2016

* * *

Фет говорил одно, Блок говорил другое
При всей его любви к Фанасичу Фету.
Но если ты, ступив за некую черту,
Всё мекаешь-гадаешь: «За кого я?» —
Твой ум увяз и месит пустоту.

Ну Фет, ну Блок, а ты-то, ты-то сам
Что думаешь про этот стыд и срам
Бессмысленных и беспощадных страхов,
Толкущихся вокруг, как пыль в луче?
В чём твой идейный вклад (помимо ахов)
В дискуссию о двери и ключе
Из золота и золоте из праха?

Скажу про прах и золото: одно,
Как свет во тьме, в другом заключено.
Способен всякий — в том-то всё и дело —
Создать из праха золото, но дух
Ослабевает с возрастом, и тело
(О этот выбор одного из двух!),
Не в силах больше оставаться целым,
Всегда, немея, выбирает тело
И в ямку — бух!

А ослабевший дух, наоборот,
Нырнет вверх и, затаившись, ждёт,
Став начерно, как все, частицей неба,
Пока иные небо и земля
Не превратят его каля-маля
В мир-чистовик, где ты и был и не был.

2016

* * *

В лесу упущенных возможностей
Летают солнечные рыбки,
Кружатся бабочки-песочницы,
Поют и пляшут маргаритки.

Между кувшинок в облаках,
Скользя над ёлками с мальками,
Сосредоточенный монах
Висит над миром вверх ногами.

То не враги по CNN,
На первом на родном канале
Нас призывали встать с колен,
Как будто мы на них стояли.

Отлично выпавшись в гробу,
Монах витает над поляной.
Но вот уже берёт трубу
Трубач из книжки Иоанна.

2016

* * *

Когда жена подымет вой
И хлынет на берег крутой
Своей неприбранной постели
Не в эротическом чаду,
А в истерическом бреде,
То различаешь еле-еле
Цель путешествия вдвоём,
Но, вспомнив вовремя о том,
Что у искусства нету цели
Помимо той, что в нём самом,
И вслушиваясь в речь, бесспорно
Несовершенную по форме,
В один непрошенный момент
Вдруг понимаешь: форма вздорна,
Но есть контент.

2016

* * *

Приятный ветерок щекочет
Твой глаз, уставший от обид –
Несметных стогн кичливый вид
Измучает кого захочешь.

А здесь седые валуны,
И клики чаек над волнами,
И человечесий стон сосны,
И мальчик в хлопковой панаме,

Жующий яблоко, верхом
На лодке, вросшей кверху днищем
В песок, читает «Принц и нищий»,
Детгизовский старинный том.

2016

* * *

Месье Тыкто́ надел пальто,
Поймал такси и – à bientôt –
На самолёте
Умчал за тридевять земель,
Вошёл в отель и лёг в постель
С какой-то тётей.

Прошло полвека – mille pardons –
Фактически прошёл эон
«До скорой встречи»,
И вот уже не père, а fils
Аэропорта вышел из
Заре навстречу.

И был, как написал один
Писатель, вечер,
И было утро: день един.

2016

В поезде

Свеча горела на столе...

Пастернак

– Вы знаете, – так начал он,
Но мы не знали
Про то, что значит антифон
И склад в хорале.

Скрипач, он знал и про орган,
И про соборы,
И этих, как их, лютеран
Хоры́ и хóры.

Но не сошёлся клином свет
На Бахе с сыном –
Четвёртый наш сосед, поэт,
Прочёл стихи нам.

Не ради выпиванья, нет,
Знакомства ради
Я вынул «Абсолют» – поэт
Убрал тетради.

Когда скрипач достал коньяк
И кныши с вишней,
Сантехник выкрикнул: «Ништяк!» –
Что было лишним.

– Ад – перевёрнутое да.
К чему бы это? –
Ударил в сердце нам тогда
Вопрос поэта.

– Да – это ад, – вздохнул знаток
Органной техники.
– Любовь не ведает преград, –
Сказал сантехник.

– А рай? Он есть? – спросил скрипач. –
Что там, за гробом?..
Меня душил то смех, то плач,
То сразу оба.

Я выпил залпом свой коньяк,
Скрывая чувства.
Рай – это посидеть вот так
С людьми искусства,

Рай – он не где-то, он внутри...
Как равный с равным,
Проговорили до зари
О самом главном

Водопроводчик, музыкант,
Кудесник слова
И я, простой официант
Из Могилёва.

2016

Стихи и птицы

— Есть только птицы и стихи.

— А как же львицы и грехи,
Болезни, приступы тоски,
Беда и гибе...

— ДэДэ, да-да, спасибо.

— Ехидничаешь? — Извини.
«И то и то» и «либо-либо» —
Два берега одной реки,
Две версии фигни.

— А что же не фигня? — Стихи
И птицы, птицы и стихи,
Осколки света,
Короче говоря, слова поэта.

— А кто поэт? — Вот тут тупик, какую
Всем умозаключениям; канюк
Парит, как мысль, описывая круг
За кругом,
И мыш, как мысль, сидит в своей норе,
И мы как мы стоим, воздев горе
Над дольным лугом
Две пары рук.

2016

* * *

Сквозь скорбный скрип пружин и космы
Подъездной тьмы
Я выходил в открытый космос
Другой Москвы.

Другой не потому что Брежнев
Или Хрущёв,
А потому что жизнь безбрежной
Была ещё.

То небо как бы не кончалось —
Не так, как тут,
И утро плыло и качалось,
Как парашют.

Был город жёлтым, небо синим,
Темнел подъезд,
Я плыл, как точка, посередине
Бездонных бездн

И мысленно, что твой Овидий,
Смотрел сюда
И всё не всё, но что-то видел
Уже тогда.

2016

* * *

Все идеи заржавели, все концепции поблёлки,
Верования засохли, философии промокли.

Как Некрасов написал: «Куды крестьянину податься?»
На часах теперь всегда без пяти двенадцать.

Между тем пищат скворцы, ласточки резвятся,
Парни с девками шур-мур, дети веселятся.

В магазинах для еды
Куча всякой ерунды,

Кстати, очень вкусной. А уж разных там обнов,
В смысле платьев и штанов —

Это ж просто дикость!
Скажешь, накость выкусь,

Скажешь, дорого дерут...
А ты заработай!

Помнишь присказку про труд,
И про рыбку, и про пруд?

Скажешь, неохота...
То-то и оно-то.

2016

* * *

Мармеладов и Каннингем – молодцы!
Верно поняли: без дома беда.
Вот идёшь по городу – троллейбусы,
Водостоки, вывески, провода.

Вот проспект длиной с Миссисипи впадает в пло-
Щадь с пол-Люксембурга – где дом твой, ноль
Без палочки? Ой, мировое зло,
Ой да рассыпало вместо пшеницы соль

Ой да на раны... Бедный эфир-зефир
Ох загрустил, тоже один-един,
Веять не веет в гнёздах фатер-квартир,
В море голов, океане машин.

2016

* * *

Розы цветут, красота, красота...
Андерсен

В белом венчике из роз...
Блок

Мелькнёт и исчезнет и всё-таки нет да
Вернётся – пускай
Спустя много месяцев... Верная Герда,
Где кайф твой? Где Кай?

Где башни и арки дремучего леса?
Где ворон и волк?
Мелькнут и исчезнут, как принц и принцесса,
Как бархат и шёлк.

Надёжно работает снежная почта,
Мороз – красный нос,
Так вот что такое «Двенадцать», так вот что
За венчик из роз.

В ненастье, любезное троллям и ведьмам,
За тёмным окном
Нет-нет и мелькнёт эта женщина с бледным
Прекрасным лицом.

Мелькнёт и растает в чертогах из света,
А мы тут как тут:
На даче, где бабушка, вечное лето
И розы цветут.

2016

* * *

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии людей, чья речь ясна
Как день и вместе с тем темна
Как ночь — как будто я в горах
(А я тот парень, что в горах не ах)
На ватных, как бы не своих ногах,
Вот именно, на гнущихся мостках
Стою, дрожа, как нежная струна,
Шепча: словам числа нет, бездне — дна.

2016

* * *

...Как откровение духов.

Тютчев

О, весна без конца и без краю...

Блок

В складках голоса, как в шкафу,
Хорошо сидеть наяву
Между платьями и духами.

Пахнет мамиными духами.

В лиловатых искорках тьмы
Платьев тоже как будто тьмы.

Просто голос, но в нём, не знаю,
Что-то вроде весны без краю.

Как так вышло, понять нельзя.

Вдруг базедово телеоко
Замигало, что та сорока,

Чёрно-белым в каком-нибудь
Шестьдесят шестом или пятом

И ведущий в слегка помятом
Пиджаке сообщил сквозь шум

(Он же тишь) времени из-за линзы
О присутствии вечной жизни

В тембре, или, вернее, и
В тембре, и в интонации.

2016

* * *

Как будто человек открыл окно,
А там не в рифму на́ тебе — светло.
И день, скажу ль, искрящийся жемчужно,
Стоит, как ёлка в солнечной пыли,
Заснеженный от неба до земли,
Добру и злу внимая равнодушно.

2016

Случай

Ко мне припёрлась голая жена.
Она была прекрасна и нежна.
Пришла и обняла меня. Вообще-то
Я спал уже, но, ощутив её
Угрюмый огонь, моё (по всем приметам)
Навстречу ей очнулось бытие.

Я был стыдливо-холоден сначала,
Но плоть её светилась и взывала...
Сопротивляться не имея сил,
Я оживляться стал всё боле-боле,
И задохнулся вдруг, и поневоле
Её восторг, стена, разделил.

2016

* * *

Дед Мороз застыл на минус двадцать,
Сыпется Снегурочка с небес.
Правда, что-то в этом белом танце
Противоестественное есть.

Даже если в доме пахнет глажкой,
Чистотой с прожжённым уголком,
И невинней папиной рубашки
Млечный свет висит под потолком,

Даже если ёлка, гости, свечи,
Christmas, Uncle Scrooge и Jingle Bells,
Всё равно и незачем, и нечем
Крыть, когда представишь летний лес,

А не эти хладные чертоги,
Сказочной, согласен, красоты,
Где чуть что — деревенеют ноги,
Коченеют руки и хвосты.

2017

Стихи, которые могли бы написать,
но не написали Карл Маркс
и Никита Сергеевич Хрущёв

Образ твой мучительный и зыбкий
Я не мог в тумане осязать.
«Коммунизм», — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

2017

* * *

Вера тут не в то да сё,
А конкретно в то, что это
Наше, в смысле наше всё,
И надежды больше нету.

Перспектива не ясна.
Но когда беспечной птичкой
Расщебечется весна,
Я надеюсь по привычке.

Зарокочут соловьи,
Встанет ночь в дверном проёме.
Никого не будет в доме,
Кроме правды и любви.

2017

Лесная вечность

Насколько же приятней про деревья,
Про землю в палочках-листочках,
Про то, над чем,

Как пели в старину, не властно время
Совсем – ну не цепляйтесь – если точно,
Почти совсем.

Синее синевы, сосней сосны
Стоит она, сама себя стесняясь,
То улыбаясь, то не улыбаясь
Из глубины.

Жерло? Не то! Какое тут жерло?!
Скорее кьяроскуро и сфумато.
Опять не то, но всё равно, ребята,
Нам повезло.

2017

Лифт. Улица 26 Бакинских комиссаров, д. 1, к. 1

Зачем врать? К чему притворяться?

Пятигорский

Зачем врать? К чему притворяться?

Ну и что, что общественность просит не повторяться!

Что важнее – общественность или гудящий лифт

И мгновенное знание, что это мама,

И – привет от Бердяева – в смысле само-

Познания: снег, как шрифт,

Крупный, только, как в негативе,

Белый в угольной перспективе

Полуправд-полукривд

Нашей улицы имени всех комиссаров,

Кровожадных и добрых, нестарых и старых,

Настоящих и гипсовых, – лифт

Грохает и замирает со стоном.

Баба Аня на идише по телефону

Говорит с тётёй Женей – опять

Тайны, какие-то вечные шифры.

С неба сыпятся снежные буквы и цифры.

Я несусь открывать.

2017

Дятлы

Приснились Байтов, Фельтринелли,
Шестов и Радлов.
На наш участок прилетели
Шестнадцать дятлов.

Был кто-то лишним в этой группе
На самом деле.
Сперва, конечно, я подумал,
Что Фельтринелли,

Но, глядя, как пестреют дятлы
На ветках вишни,
Я догадался, что у Бога
Никто не лишний.

Зачем-то мы нужны друг другу,
Как Брежнев Пельше.
Хотя, наверно, кто-то больше,
А кто-то меньше.

2017

* * *

Ботик вышел в море и пропал,
Растворился в чашке.
Ночь идёт что твой Сарданапал
В розовой фуражке.

Перламутр и жемчуг, нежных век
Розоватый ответ...
Я хочу сказать, что человек,
Несмотря на то что

Он не смыслит в этом ни аза,
Просто так, как зритель,
Иногда заглядывает за
Горизонт событий.

2017

Очки и туфли. Слияние

Только лампы потухли,
Нам предстала впотьмах
Встреча женщины в туфлях
И мужчины в очках

Под рисунком Моранди
У ночного окна
На пустынной веранде
За бокалом вина.

Никаких разговоров,
Только туфли в очках
Отражались, как море
В рыболовных крючках,

Только сосны чернели,
Только волн гребешки,
Словно туфли, белели
В темноте, как очки.

2017

* * *

Голод волчий.
Холод собачий.
Угол медвежий.
Fuera esta noche.
Che tu mi piaci.
Tombe la neige.

2017

Подвиг поэта

...в закоцитной стороне...

Баратынский

Чем дальше, тем больше неясностей в главных вопросах
И меньше доверия ко всякого рода ответам,
Любым, даже самым высоким, как дом на колёсах,
Сквозь чёрные буквы летящим по белому свету.

Никто никому в этом мире не должен ни грана,
Но есть, как сказал бы Израиль Натаныч, одно исключение,
И это, конечно же, ты — вот такое везение,
Еврейское счастье, сострил бы Израиль Натаныч.

Под бременем тяжкого долга согнувшись до срока,
Ты сам, как прицеп на ухабах и поезд на стыках,
Кряхтишь, раскалившись на юге, а то одиноко
Скрипишь, коченя под ветром, на севере диком.

Так в чём же твой долг? Жаль, Израиль Натаныч далече,
А то б он порадовал нас остроумным ответом,
Сказал бы ну что-нибудь вроде: содействовать встрече,
Ну да, закоцитной, — не в этом ли подвиг поэта?

2017

* * *

1

Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет, —
Подпрыгнул как-то в своей кроватке дошкольник Изя,
Ладошки взмокли, губа трясётся, глаза как блюдца,
Один на целом-прецелом свете во мраке жизни.

Настало утро, и мальчик Изя и все проснулись.
Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит.
Ночные страхи вдруг расступились, перевернулись
В какой-то дикий теду бе нябет, теду бе нябет.

2

Однажды Изе приснилась птичка с часами в спинке.
Она сидела, потом вспорхнула и улетела,
И понял Изя, столетний Изя, тараша зенки,
Что худо дело, ох, худо дело, эх, худо дело.

Опять за горло его схватили железной хваткой,
Опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти.
Будь Изя прежним, подпрыгнул б снова в своей кроватке,
А этот просто, держась за сердце, привстал на локте.

2017

* * *

Когда с приятелем в заснеженных полях
Мы вглядывались в даль, как лыжники в разведке,
И новогодний мир светился, как фонарь,
Сквозь дырки снегопадной сетки,

И что-то тикало и шелестело, но
Товарищ мой прибег к испытанной уловке:
Он закурил – и тут же, как в кино,
Автобус, фыркая, причалил к остановке.

Звенела жёсткая январская земля,
Автобусная плоть тряслась и дребезжала.
Пошли мелькать леса, поля, леса, поля,
Вновь что-то щёлкало и сразу замирало.

Но только жизнь спустя понятно стало мне,
В чём там на самом деле было дело:
Сливалось с тишиной и замирало не
То, что дребезжало и звенело.

2017

Содержание

От автора	3
-----------------	---

Между шкафом и небом

«Бог обращается к нам...»	7
---------------------------------	---

Покров

В Александровке	51
Зима	52
Детство	53
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»	54
«Всё то, что было, — это то, что есть...»	55
«Она вошла в меня, как лодка входит в гавань...»	56
«“Нечаянно”, “за так” и “ниоткуда”...»	57
Отражение	58
Покров	59
Пейзаж в такт шагам	61
В автобусе	62
На крыльце	63
Пустота	64
Натюрморт	65
«Даже эти шаги, даже эти следы на паласе...»	66

Трава и дым

Одуванчик	69
Гроза	70
«Человек подходит к микрофону...»	71
Фотография	72
«В толпе весёлых палочек, в плену...»	73
«Там хорошо, где нас нет...»	74
«Он просиял и подошёл к окну...»	76

«Облако, прошитое пунктиром...»	77
«Есть мир и Бог; мир, человек и Бог...»	79
«В трухлявой Аркадии...»	81
Голос	82
«Видение философа Хомы...»	83
«Любовь, как Чингачук, всегда точна...»	84
«В пустоте из полиэтилена...»	85
Письмо	86
«Надо постучаться – и отворят...»	87
«И лес, и шкаф, и фотоаппарат...»	88
«Слова стоят как стулья на песке...»	89
Обещание	90
Под рыжим абажуром	91
«Лес порхает, кружится – на синь и сень...»	92
«Ныряя, ломаясь, гудя...»	93
Часы и зеркало	94
«Остался лес, остался дом, остался сад...»	95
Про дождь	96
«Наткнуться в сумерках на солнечную нить...»	97
Встреча	98
«В траве стоят спокойные цветы...»	99
«Что-то было обещано...»	100
«Как тень воспоминания...»	101
«Мне хочется срифмовать...»	102
«Мама под снегом ведёт ненормальную дочь...»	103
«Плаха? Нет, он хотел сказать: праха...»	104
Стрекоза	105
«Сияла ночь; бред вспыхивал, как воздух...»	106
Китайский романс	107
«Как – вид сверху – автобус в снегах...»	108
«Двадцать лет уже – ни много ни мало...»	109
Angelica sylvestris	110
«Изменить жизнь!.. Не вообще – это...»	111
Знамя	112
Начало века	113
«В траве, в костре июня, у торца...»	114

Что значит луч

Озарение Саид-Бабы	117
Whistle	120
«Если слишком долго заглядывать в бездну...»	121
«Благодать – не морошка...»	122
Раньше лучше было...	123
«Белила, простыни... Словом, вокруг зима...»	124
«Что говорить о прочих, если даже...»	125
«Субботний день» Андре Дерена	126
День прозы	127
«Как в кровати между папой и мамой...»	128
«В тесноте скрестившихся плоскостей...»	129
«Что такое стихи?..»	130
«Больше чем, меньше чем, больше...»	131
«За окном зима, а пахнет летом...»	132
«Как кто убил?. Из книжки лился свет...»	133
«Пустота как присутствие, дырка как мир наяву...»	134
На появление в доме южноамериканского попугая	135
Пинг-понг	137
Гражданская лирика	138
«Сквозь белый день цветные пятна, где...»	139
«Конечно, плохо, даже очень, но...»	140
«Там, где стоят слова, там непонятно как...»	141
«В такой – какой? – то влажной, то сухой...»	142
Весна в Михайловском	143
«Каждый день – подарок, – сказал Бабкен...»	144
Карельская элегия	145
Дом отдыха семидесятых	146
«Преподаёшь английский – свет на ключ...»	147
Эта пьеса	148
Первая правда	150
Одесса-63	151
«Жизнь конечна или бесконечна?..»	152
«It's a nice, warm evening, – сказал Бернارد...»	153
«Noblesse oblige. Старик совсем облез...»	154

Стакан хохочет, сигарета рыдает

«Снег выпал и затих...»	157
«Автобус уехал, мы остались у входа в лес...»	158
Марк Шагал. «Окно на даче»	159
«Мои еврейские друзья...»	160
«Зимний вечер...»	161
Загадка	164
«Во сне всё ясно: ключ в просвете...»	165
Упование сыроежки	166
В Риме	167
В комнатах времени	170
«Однажды...»	171
Заветные сказки для детей и юношества	172
Куст, власть и музыка	175
Марсель и Иоанн	176
Les pensées des gens différents	177
Фрагмент одного ночного разговора	179
«Раньше хватало простой пустоты...»	180
Вопросы литературы. Редукция 1	181
«Травка солнышком согрета...»	183
«Визави сказал: “Хи-хи!”...»	184
«Над пустой дорожкой в осеннем парке...»	185
Бомж	186
В Иерусалиме	187
«Чтобы не остаться наедине...»	189
Старые фотографии	190
«Как свет под соснами, где ты и тут и там...»	193
Тётя Дося	194
«В прозрачной дымке на краю земли...»	195
Памяти И. М. Смоктуновского. Царь 1	196
«Вот они...»	197
«Как будто дождь, как будто дождь, как будто...»	199
«Вокруг стоят громады...»	200
«Тук-тук...»	201
«Сегодня солнце, — объявляет он...»	202

«Вот дядя в кепке с бородой седой...»	203
«Я возвращался — комната ждала...»	204
«Старушка за восемьдесят...»	205
«Из жёлтого шара чёрных блестящих букв...»	206
«Что делать, чтобы не стареть?..»	207
Воздушный шар	208
«Дениска Кораблёв в витрине...»	209
«Казалось в детстве, что актёры...»	211
«Люблю свои стихи за их прозрачный свет...»	212
«Когда мне говорят “начало века”...»	213
«Я хотел бы не понять...»	214
Бабочка	215
Монтрё-Палас — Монтрё-Кларанс	218
Послушные дети	219
Возвращение Одиссея. Царь 2	221
Внезапный ливень в лесу	222
Перечитывая Винни-Пуха	223
«Магазин канцелярских товаров...»	224
Вопросы литературы. Редукция 2	225
«Извините за то...»	228

Домашние спектакли

«Шёл недавно домой от метро...»	231
---------------------------------	-----

Птичка

«Честно говоря, чушь собачья...»	235
Неожиданная находка, или Разговор Булата Окуджавы с Мерабом Мамардашвили после просмотра «Бриллиантовой руки»	236
Ф. М. Достоевский и А. Г. Сниткина выходят на Воздвиженку из метро «Библиотека имени Ленина»	237
«Всё чепуха, труха и шелуха...»	238
«Каждое утро...»	239
«Не исключено...»	240
Два Фёдора	241

«В серых стёклах, не то зеркалах...»	242
Варшавская элегия	243
«Мы с папой играли в серсо...»	244
О перемене ума	246
«В Италии я был в музее митр...»	247
Маяк	248
«Когда мы подъехали к дому, было уже темно...»	249
«Кто-то снизу крикнул: “Поручик!”...»	250
«На тропинке иголки, травинки...»	251
Кясму. Утро в лесу	252
«Какая-то птица скрипела...»	253
Kukeseened	254
«Надеешься на да, а если нет...»	255
«С балкона вид на плохонький лесок...»	256
Психотерапевтическое	257
Туман в Ярославле	258
«Ты ещё в метро, но уже как будто...»	259
Енгибаров	260
Может, хватит, или Весна древнесоветская	261
Чехов. Возвращение с о. Сахалин	262
Сонет	263
Икар	264
«Фет говорил одно, Блок говорил другое...»	265
«В лесу упущенных возможностей...»	266
«Когда жена подымет вой...»	267
«Приятный ветерок щекочет...»	268
«Месяц Тыкто надел пальто...»	269
В поезде	270
Стихи и птицы	272
«Сквозь скорбный скрип пружин и космы...»	273
«Все идеи заржавели, все концепции поблёкли...»	274
«Мармеладов и Каннингем — молодцы!..»	275
«Мелькнёт и исчезнет и всё-таки нет да...»	276
«Я чувствую непобедимый страх...»	277
«В складках голоса, как в шкафу...»	278
«Как будто человек открыл окно...»	279

Случай	280
«Дед Мороз застыл на минус двадцать...»	281
Стихи, которые могли бы написать, но не написали	
Карл Маркс и Никита Сергеевич Хрущёв	282
«Вера тут не в то да сё...»	283
Лесная вечность	284
Лифт. Улица 26 Бакинских комиссаров, д. 1, к. 1	285
Дятлы	286
«Ботик вышел в море и пропал...»	287
Очки и туфли. Слияние	288
«Голод волчий...»	289
Подвиг поэта	290
«Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет...»	291
«Когда с приятелем в заснеженных полях...»	292

Дмитрий Веденяпин. Папа говорит по телефону

возрастная категория 18+

редактор:
Александр Переверзин

корректор, технический редактор:
Ольга Тузова

издательство «Воймега»
voymega@yandex.ru
alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 15.12.2019
Формат издания 60х90/16. Усл. печ. л. 18.75.
Тираж 500 экз.

ISBN 978-5-6043511-2-3



9 785604 351123

Книги Дмитрия Веденяпина

Покров (1993)



Трава и дым (2002)



Между шкафом и небом (2009)



Что значит луч (2010)



Стакан хохочет, сигарета рыдает (2015)



Домашние спектакли (2015)



Птичка (2018)



ISBN 978-5-6043511-2-3

